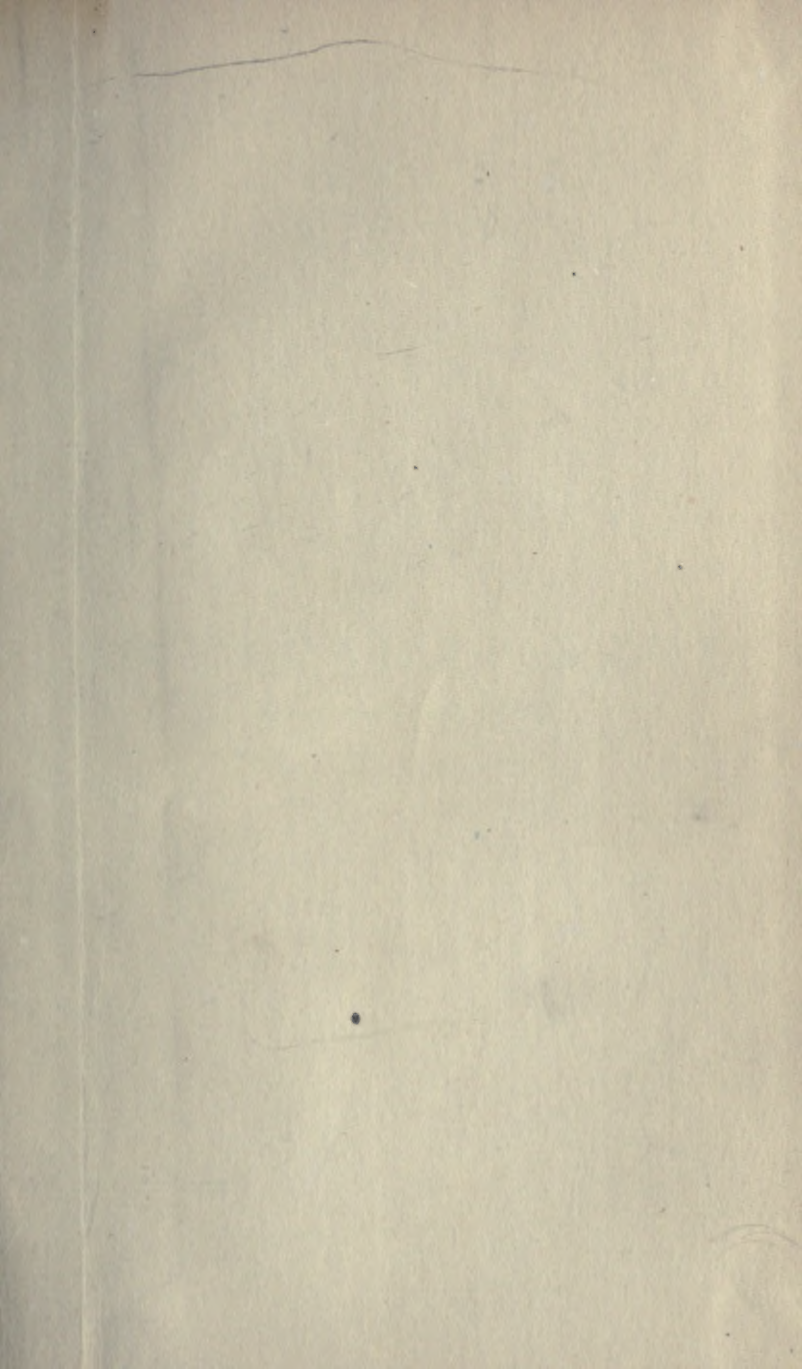

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00322777 4



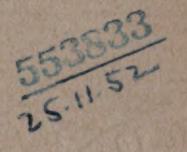
АЛЕКСАНДР БЛОК

Биографический очерк

М. А. БЕКЕТОВА

АЛЕКСАНДР БЛОК

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК



АЛКОНОСТ
ПЕТЕРБУРГ ▪ 1922

Посвящаю эту книгу

матери поэта

Взяв на себя трудную задачу написать биографию Ал. Блока, я предупреждаю заранее, что это не более, как несовершенная попытка дать краткий очерк жизни поэта, дополняющий воспоминания его современников. Он родился и жил до девяти лет в доме моего отца (своего деда). Мне, как тетке его, связанной близкой дружбой с его матерью, известны многие факты его жизни. Поэтому я и взяла на себя смелость писать о нем именно теперь, когда его полная биография не может быть написана по вполне понятным причинам.

М. Б.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фамилия Александра Александровича Блока — немецкая. Его дед по отцу вел свой род от врача императрицы Елизаветы Петровны, Ивана Леонтьевича Блока, мекленбургского выходца и дворянина, получившего образование на медицинском факультете одного из германских университетов и прибывшего в Россию в 1755 году.

Врач Иван Леонтьевич Блок принимал участие в семилетней войне. В следующее царствование, при Екатерине II, был лейб-хирургом и сопровождал Павла за границу. В царствование Павла пожаловано ему в Ямбургском уезде имение. В словаре Плюшара против его имени стоит краткое — литератор.

Сын его, Александр Иванович, занимавший различные придворные должности в царствование Николая I, был особенно взыскан милостями этого монарха, который наградил его несколькими именьями в разных уездах петербургской губернии.

Впоследствии, все его огромное состояние распределилось между членами многочисленной семьи, состоявшей из 4 сыновей и 4 дочерей, а до следующего поколения дошло уже в значительно уменьшенном виде.

Один из четырех сыновей Александра Ивановича Блока, Лев Александрович, был родной дед поэта. Все его братья начали свою карьеру с военной службы, а Константин продолжал ее и до конца, приняв в свое время участие в Туркестанском и Турецком походах.

Лев Александрович получил образование в Училище Правоведения. Его школьными товарищами были Победоносцев и Иван Сергеевич Аксаков. По окончании курса, служил он в сенате, был послан на ревизию, получил звание камер-юнкера. Затем гдовское дворянство выбрало его своим предводителем, в один из своих наездов в город Псков он познакомился с семьей тамошнего губернатора Черкасова и женился на одной из его дочерей, Ариадне Александровне, девушке необычайной красоты.

Прадед поэта, Александр Львович Черкасов, судя по скудным сведениям, дошедшим до нашего времени, слыл человеком из ряда вон деспотичным и жестоким. Портретов не осталось. Остался один силуэт, передающий профиль красавца. Александр Львович служил в Сибири. Все его четыре дочери получили домашнее образование.

К сведениям о дедушке Льве Александровиче мы прибавим, что, уже будучи женатым и отцом двух

сыновей, Александра и Петра, он получил назначение председателя новгородской казенной палаты. Старший сын его, Александр Львович, отец поэта, учился и кончил курс в новгородской гимназии. А следующее назначение Лев Александрович получил уже в Петербург — на должность вице-директора департамента таможенных сборов. Семья поселилась на казенной квартире, на набережной Невы, на Васильевском острове, у самого Дворцового моста.

Бабушка поэта, Ариадна Александровна, была добрая и смиренная мать семейства. Жизнь ее не может быть названа счастливой, так как муж ее отличался нравами ловеласа и был скуповат. Конец своей жизни, после смерти мужа, умершего в психиатрической лечебнице, она провела в семье дочери, среди любимых внучат.

У Льва Александровича и Ариадны Александровны кроме старшего сына Александра, было еще два сына, Петр и Иван и дочь Ольга.

Петр Львович кончил курс на юридическом факультете петербургского университета. Во время Турецкой войны он поступил добровольцем в один из стрелковых полков. Потом, женившись, служилъ по министерству финансов, а всю остальную свою жизнь посвятил адвокатуре. Это был человек, любивший литературу, любивший поэтов и музыку. Молодые Блоки, все четверо, отличались большой музыкальностью: Александр Львович и Ольга Львовна играли на фортепиано, Петр Львович — на скрипке, Иван Львович — на виолончели. Здесь ин-

тересно отметить одну особенность Петра Львовича. Он был почти лишен музыкального слуха и при этом наделен музыкальной памятью и редким чувством ритма, что позволяло ему передавать своим странным голосом целые оперы, такие, как Руслан Глинки, давая об них полное понятие. А интересно в этом то, что тоже, почти буквально, можно сказать о его родном племяннике: он точно также был лишен музыкального слуха и отличался поразительным чувством ритма. Я говорю, конечно, о поэте.

Тетка поэта, Ольга Львовна, вышла замуж очень рано. У нее была обширная семья, в том числе дочери Ольга и Соня, милые девушки, которые дружили с Александром Александровичем в пору его студенчества.

Младший из дядьев поэта, Иван Львович, правовед по образованию, был добрый, мягкий, и гуманный человек. У него тоже была большая семья. Он служил губернатором, переходя из одной губернии в другую. Везде пользовался любовью и уважением населения. В 1906 году убит бомбой в Самаре.

Об отце поэта, Александре Львовиче, я буду говорить дальше. Вообще же о семье Блоков пришлось мне сказать немного, так как лично я их почти не знала.

Со стороны матери Александр Александрович Блок — чисто русский. Мать его — дочь профессора петербургского университета, известного ректора и поборника женского образования Андрея Николаевича Бекетова, который был женат на Ели-

завете Григорьевне Карелиной, дочери Григория Силыча Карелина, чрезвычайно талантливого и энергичного исследователя средней Азии.

Дед мой, Николай Алексеевич Бекетов, большой барин и очень богатый помещик, владел несколькими именьями в Саратовской и Пензенской губерниях. В молодости служил во флоте, но вскоре вышел в отставку, женился и поселился в деревне. Жена его (урожденная Якушкина, племянница декабриста) рано умерла, оставив дочь и трех сыновей. Первое время после ее смерти детей воспитывала швейцарка M-me Fournier, очень добрая женщина, которая сумела заменить сиротам рано умершую мать. Дальнейшее воспитание они получили в Петербурге. Дочь, Екатерина Николаевна, отданная в Смольный Институт, по окончании курса вернулась к отцу. Старший сын, Алексей Николаевич, кончил курс в Инженерном Училище, но впоследствии отдался земской деятельности и много лет кряду занимал место председателя пензенской губернской управы. Младшие сыновья получили университетское образование. Из Николая Николаевича вышел известный химик, впоследствии академик. Отец мой избрал своей специальностью ботанику. Все три брата проявили склонность к общественной деятельности и восприняли гуманные идеи сороковых годов.

К тому времени, как дети закончили свое образование, дед мой раззорился и потерял почти все состояние, так что сыновья должны были существовать, уже не рассчитывая на поддержку отца. Сам он

дожил свой век в той самой Алферьевке, где выросли его дети, до конца своих дней поддерживая старый порядок с многочисленной дворней, тремя поварами и тонкими обедами.

Отец мой, Андрей Николаевич, был самый живой, разносторонний и яркий из братьев Бекетовых. В ранней молодости он увлекался фурьеризмом, одно время серьезно занимался философией, изучая Платона, был далеко не чужд литературе, уже в старости зачитывался Толстым и Тургеневым, второй частью Гетева Фауста. В общественной деятельности он проявил большую энергию и страстность. Время его ректорства оставило очень яркий след в истории петербургского университета. Особенно многим обязаны ему студенты, в организацию которых он внес совершенно новые элементы. Ни один ректор, ни до, ни после него, не был так близок с молодежью. Между прочим он то и дело тревожил полицейские власти, хлопоча об освобождении студентов, сидевших в доме предварительного заключения. Его энергия и настойчивость в этом направлении были столь неутомимы, что он добился однажды необычайного результата: по его ходатайству, один студент четвертого курса, сидевший в крепости, получил разрешение держать выпускные экзамены, являясь в университет под конвоем, и таким образом кончил курс и получил кандидатский диплом.

Что касается деятельности моего отца по части высшего женского образования, то можно смело сказать, что он был его создателем с самого начала

возникновения этого течения. Очень немногие знают, что Бестужеские курсы названы не Бекетовскими только потому, что во времена их открытия отец был на плохом счету в высших сферах, где у него создалась репутация Робеспьера.

Весь облик отца был симпатичен и обаятелен. Доброта, высокое благородство, искренность, детская непосредственность и доверчивость составляли главные черты его привлекательного характера. Живой, горячий, ласковый, он был всеобщим любимцем не только в собственной семье, но и в родне жены. Любили его и товарищи профессора и еще более студенты и ученики, которых у него было великое множество. Даровитость его проявлялась и в научных работах, и в чтении лекций, которые привлекали массу слушателей. Он говорил на трех языках, рисовал карандашом и пером, сочинял своим детям веселые сказки, которые тут же и иллюстрировал бойкими, смелыми рисунками.

Дед мой по матери был человек замечательный. Еще молодым артиллерийским поручиком он приобрел солидные знания по всем отраслям естественных наук. Его военная карьера не удалась из за смелой шутки по адресу Аракчеева, который сослал его в город Оренбург. Здесь он женился на местной уроженке, красавице и умнице, Сашеньке Семеновой (дочери отставного офицера одного из гвардейских полков), получившей образование и воспитание в петербургском пансионе мадам Шрёдер, где препода-

вали между прочим такие учителя, как Плетнев и Греч.

Блестящие способности и образование отставного поручика артиллерии обратили на себя внимание двух оренбургских военных губернаторов. По их поручению, он совершил ряд путешествий по Средней Азии, будучи прикомандирован к министерству иностранных дел. Все четыре его дочери родились в Оренбурге. Младшая — Елизавета Григорьевна — будущая бабушка Александра Александровича.

Из Оренбурга семья Карелиных переселилась в Московскую губернию, где было куплено имение Трубицыно. Сам Карелин продолжал путешествовать, исследуя Сибирь. Он по нескольку лет кряду оставлял семью и только изредка наезжал в деревню, внося в домашнюю обстановку разнообразие и праздничное оживление. В один из таких наездов он пробыл в Трубицыне пять лет кряду, после чего навсегда покинул жену и детей и прекратил свои путешествия, продолжая заниматься наукой, живя в городе Гурьеве, где и скончался.

Жизнь семьи Карелиных в отсутствии отца шла довольно монотонно. Средства были небольшие, жили скромно. Иногда мать отпускала одну из дочерей в Москву — погостить у знакомых.

Александра Николаевна Карелина — женщина властная и суровая, воспитывала дочерей по спартански и не баловала их лаской, но зато выработала в них сильные характеры и самостоятельность. Образовать их помог ей муж. Взамен учителей, на кото-

рых не было средств, он составил для дочерей прекрасную библиотеку из русских, французских и немецких классиков и научных сочинений на французском языке.

Этой библиотекой воспользовалась главным образом его меньшая и любимая дочь Лиза (наша будущая мать), более всех походившая на отца нравом и даровитостью. Когда, по обычаю того времени, для пополнения средств мать стала брать к себе дочерей богатых бар для обучения их наукам, все эти барышни предоставлялись Лизе, которая уже в пятнадцать лет, учила их между прочим истории и географии. В юности она порядком страдала от суровых педагогических приемов Александры Николаевны, но в более зрелом возрасте ее отношения с матерью стали самые дружеские.

Бабушка Александра Николаевна очень любила моего отца и всю нашу семью. Сама она к старости очень смягчилась и за ласку готова была поступиться многим. Она по целым годам жила у нас в доме и оставила у всех самые лучшие воспоминания. Это была женщина старого закала, но отсутствие мелочности и такт помогали ей жить и в новых условиях, никого не угнетая своей особой. До покупки своего Шахматова мы часто бывали летом в Трубицыне. Предоставив хозяйство старшей незамужней дочери, она проводила остаток жизни за чтением и рукоделием. До старости помнила она державинские оды, прекрасно знала французский и немецкий язык и всему предпочитала Шиллера и Ламартина. Старшая

наша тетка, Софья Григорьевна, также близка была у нас в доме. Единственная из сестер Карелиных, оставшаяся в девицах, она обожала свою мать, которая и умерла у нее на руках, в глубокой старости. Ее необыкновенная доброта, общительность, простое и светлое отношение к жизни и легкий характер, при способности к самоотвержению, создали ей массу друзей в широком кругу семьи и знакомых. Она любила жизнь в ее простых проявлениях: в людях, в природе, была глубоко религиозна. Любила также живопись и литературу, своей наивной и чуткой душой чуяла лирику Тютчева, а впоследствии и Блока. И она, и мать ее играли в жизни его известную роль, о которой будет сказано ниже.

Наша мать, бабушка Александра Александровича, была выдающаяся женщина. Своеобразная, жизненная, остроумная и веселая, она распространяла вокруг себя праздничную и ясную атмосферу. Способностями отличалась разносторонними и блестящими. Без всякой посторонней помощи выучилась говорить и писать по французски, по английски, по немецки. Знала также итальянский и испанский языки. Страстно любила литературу, много читала, помнила наизусть массу стихов русских и иностранных поэтов и при первой возможности занялась переводами, вкладывая в это дело много увлечения и таланта. Ее переводы отличаются свежестью и разнообразием оборотов. Особенно удавались ей диалоги и юмористические сцены. Работоспособность ее была изумительна. Она работала чрезвычайно быстро и, даже

не перечитав своей рукописи, написанной твердым и четким почерком, прямо из под пера, отправляла ее в типографию. По свидетельству внука, Александра Александровича, «некоторые из ее переводов до сих пор остаются лучшими». (См. его автобиографию в «Русской литературе XX века», издание Венгерова). Между прочим она мастерски читала вслух, особенно комические вещи, и страстно любила театр. В молодости писала много стихов и слагала их с необычайной легкостью, но печатала только переводы.

Вкус к литературе и хорошему русскому языку передала она нам, дочерям. Три из нас (всех нас было четыре) так или иначе проявили себя в литературе. Все мы писали стихи и занимались переводами и компиляциями, но только старшая сестра, Екатерина Андреевна, по мужу Краснова, оставила после себя два тома оригинальных произведений: один в стихах, другой в прозе. Александра Андреевна, мать поэта, также, как и я, печатала только детские стихи и переводы в прозе и стихах.

Вдобавок ко всему прочему, наша мать была чрезвычайно способная музыкантша. Страстно любя музыку, она самоучкой выучилась играть на фортепиано, бойко исполняла трудные сонаты Бетховена, пьесы Шопена, причем исполнение ее отличалось выразительностью и отчетливостью. В нашей семье наклонности и вкусы матери преобладали. Отец не передал склонности к естественным наукам ни одной из своих четырех дочерей. Все

мы предпочитали искусство и литературу, но унаследовали от отца большую любовь к природе.

Мать воспитала в нас уважение к труду и стойкость в перенесении невзгод и физических страданий. Но наряду с этим передала и романтику, которой окрашивала все явления жизни. Можно смело сказать, что мы родились и выросли в атмосфере романтизма.

Общим свойством моих родителей было пренебрежение к земным благам и уважение духовных ценностей. Бедность, которую испытали они в первые годы своего брака, переносили они легко и весело. Ложный стыд и тщеславие были им чужды. Пошлость, скука и общепринятая шаблонность совершенно отсутствовали в атмосфере нашего дома.

Таков был дух той семьи, в которой воспитывался поэтический дар Александра Блока.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Семья Блоков не имела на поэта непосредственного влияния, но он несомненно унаследовал от нее некоторые черты. Я уже упоминала о музыкальности. Отец поэта был талантливейший пианист с серьезными вкусами. Его любимцами были Бетховен и Шуман. Об его игре не раз упомянуто в поэме «Возмездие». Мне остается прибавить несколько слов: исполнение Александра Львовича отличалось точностью, свободой, силой. Но главное

обаяние заключалось в какой-то стихийной демонической страстности; получалось впечатление вдохновенного порыва, стремительного полета, непередаваемого словами. Музыкальность отца, повидимому, претворилась в сыне особым образом. Она сказалась в необычайной музыкальности его стиха и в разнообразии ритмов.

Наружностью поэт походил на Блоков. Больше всего на деда Льва Александровича. На отца он похож был только сложением и общим складом лица. Александр Львович один из всей семьи вышел в Черкасовых. Так же, как и мать, был он брюнет с серозелеными глазами и тонкими чертами лица; черные, сросшиеся брови, продолговатое, бледное лицо, необыкновенно яркие губы и тяжелый взгляд придавали его лицу мрачное выражение. Походка и все движения были резки и порывисты. Короткий смех и легкое заикание сообщали какой-то особый характер его странному, нервному облику. Также, как и сын, он отличался большой физической силой и крепким здоровьем. Это был человек с большим и своеобразным отвлеченным умом и тонкими литературными вкусами. Его любимцами были Гете, Шекспир и Флобер. Из русских писателей он особенно любил Достоевского и Лермонтова. К «Демону» у него было особенное отношение. Он исключительно ценил не только поэму Лермонтова, но и оперу Рубинштейна, которую знал наизусть и беспрестанно играл в собственном своем переложении.

Избранная им научная профессия (он был профессором государственного права) не соответствовала его художественным наклонностям и широким стремлениям. Придавая громадное значение форме, он считал себя учеником Флобера и свои научные труды обратывал в его стиле. Последние 20 лет жизни он трудился над сочинением, посвященным классификации наук, что, разумеется, далеко переходит за пределы его специальности, но так и не закончил этого труда. Говоря словами его сына «свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал. В этом искании сжатых форм было что то судорожное и страшное, как и во всем душевном и физическом облике его» («Александр Блок, автобиографический очерк.» Русская литература XX века. 1890—1910).

Сын унаследовал от отца сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума. Но характер его был иного склада: в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова, совершенно не свойственные отцу: доброта, детская доверчивость, щедрость, невинный юмор. Мрачный, демонический облик Александра Львовича вместе с присущим ему обаянием в общем верно очерчен в поэме «Возмездие». Я должна оговорить только то, что касается художественного вымысла: роман между отцом и матерью происходил не совсем так, как изобразил его поэт, и самый облик отца несколько идеализирован. Но III-ья глава есть точное воспроизведение действительности.

Возвращаюсь к своему рассказу.

Когда семья Блоков переселилась в Петербург, Александр Львович поступил на юридический факультет петербургского университета и был одним из выдающихся учеников покойного профессора А. Д. Градовскаго. Из числа его товарищей назовем ныне покойного профессора Коркунова и профессора Бершадского.

В годы студенчества, Александр Львович, которому была чужда атмосфера родительского дома, покинул семью и, переселившись в меблированную комнату, стал содержать себя уроками. Попав «на кондицию» в богатую семью Бибиковых, состоявшую из матери — вдовы и двух ее сыновей — подростков, он побывал с ними за границей, посетил Швейцарию и Италию. Но потом снова вернулся в родную семью и блестяще окончил курс университета.

Все это происходило в семидесятых годах прошлого столетия, когда в Петербурге блистала известная общественная деятельница, красавица Анна Павловна Философова. На ее вечерах бывал и Александр Львович. Там встречался он с Достоевским, которого поразила наружность молодого человека. Как говорил тогда, Достоевский собирался изобразить его в одном из своих романов в качестве главного действующего лица.

В те же годы в нашей бекетовской семье подростала третья дочь Ася (Александра Андреевна) — будущая мать поэта. В семье ее все любили. Была она добрая, ласковая и необыкновенно веселая де-

вочка. Ее проказы и шалости оживляли весь дом и смешили нас, сестер, до упаду. Но все это уживалось с капризным, причудливым характером, что об'яснялось ее нервностью и крайней впечатлительностью. В натуре ее замечались странности, которые проявились в четырнадцатилетнем возврасте при одном, казалось бы, незначительном случае ее жизни, неожиданно выказав какие-то подсознательные глубины ее своеобразной и сложной натуры.

Однажды прекрасным августовским вечером она вместе с теткой и сестрами отправилась прокатиться по Неве на ялике. И мимо этого ялика проплыл утопленник. Его несло течением. Вид его тела, намокшей розовой рубахи и слипшихся волос произвел на нее потрясающее впечатление: она едва дошла до дому, и тут на нее напала такая слабость, что она буквально не могла держаться на ногах: приходилось водить ее под руки, поднимать со стула. Матери не было в городе. Ее заменяла тетка, которая сердилась на Асю, принимая ее поведение за шалость или притворство. Но девочке было не до шуток: весь ее организм был охвачен каким-то странным недугом. Дня три она не могла ни есть, ни спать, смотрела перед собой неподвижным взглядом и молчала. Весь мир приобрел для нее особую окраску, все потеряло смысл, как бы перестало существовать. Это не было чувство страха или жалости, а какой-то безсознательный, мистический ужас перед трагедией жизни и неотвратимостью рока. Еслиб она могла в то время осознать и оформить свои ощущения, она

выразила бы их одним вопросом: «Если так, зачем жить?»

Такова было эта веселая девочка, самая ребячливая и беззаботная из своих сестер. Детского в ней было очень много, и долго оставалась она еще совершенным ребенком, но случая с утопленником никогда не забывала.

Училась Ася довольно плохо. Она ненавидела всякую «учебу», систематичность. В гимназии ее считали пустой, даже глупой, но ошибочно... Больше всего любила она природу и литературу, особенно лирику, поэзию.

Была очень религиозна и еще в детстве мечтала о детях, о материнстве.

В шестнадцать лет из некрасивой девочки Ася превратилась в очаровательную девушку. Своей женственной грацией, стройностью, хорошеньким, свежим лицом и шаловливым кокетством она привлекала сердца.

Однажды пригласила ее на танцовальный вечер товарка по гимназии, некая Сашенька Озерецкая, дочь инспектора студентов, занимавшего казенную квартиру этажем ниже нашей. Родители ничего не имели против, Ася очень любила танцовать и охотно отправилась на вечер. Вернувшись домой довольно поздно, когда я поджидала ее, лежа в постели, она тут же разсказала мне, что на вечере за ней все время ухаживал Александр Львович Блок, очень красивый и интересный молодой человек. Этот вечер решил ее судьбу. Ася не подозревала, какое сильное

впечатление она произвела на Александра Львовича. Ища случая встретиться с нею, он взял ложу в оперу на «Демона» для семьи Озерецких с тем условием, что будет приглашена Ася Бекетова. Она очень удивилась, увидив его в опере. Он не отходил от нее весь вечер.

Вскоре после этого отец был выбран ректором петербургского университета. Осенью мы переселились на новую квартиру на набережной Невы, в ректорский дом, который весь отдавался в распоряжение ректора. В нижнем этаже помещалась столовая и комнаты родителей. Тут же в особой комнате жила на покое старая няня. В верхнем этаже — мы, сестры и наша бабушка, Александра Николаевна Карелина. Тут же была гостинная и белая зала с большим камином и окнами на Неву; здесь стоял рояль. Обстановка была скромная. С самого начала сезона возникли субботние вечера, на которые собиралось иногда до ста человек студентов и кое-кто из профессоров, не считая барышень и дам. Пили чай с бутербродами, фруктами и домашним вареньем — ни вина, ни ужина не полагалось по недостатку средств, но это не мешало очень весело проводить время.

Внизу у ректора толковали о политике и обсуждали философские вопросы, наверху играли в petits-jeux, занимались музыкой, пением, танцами.

В этом году Александр Львович Блок стал бывать у нас в доме. Его настойчивое ухаживание кончи-

лось тем, что Ася еще до окончания курса гимназии стала его невестой.

Кстати сказать перед самыми выпускными экзаменами родители взяли ее из гимназии по совету доктора, который нашел у нее порок сердца и ученье счел для нее вредным.

Александр Львович, который по окончании курса был оставлен при университете, получил кафедру приват-доцента государственного права в варшавском университете. Лекции начинались с осени следующего года. Таким образом он имел возможность остаться в Петербурге до конца сезона, мог ежедневно видеться с невестой и большую часть лета провел в нашем подмосковном Шахматове. Осенью он уехал в Варшаву, так какъ свадьбу решено было отпраздновать в январе того же сезона.

Тогда уже, во время жениховства, обнаружил он свой тяжелый характер. Теперь еще рано обнародовать все подробности этой семейной драмы. Скажу только, что младший брат Александра Львовича, Иван Львович, человек очень добрый, горячо отговаривал сестру от этого брака, предвидя последующие несчастья, но это ни к чему не повело. Судьба ее была решена: 7 января 1878 года, восемьнадцати лет отроду, она обвенчалась с Александром Львовичем в университетской церкви. В тот же вечер молодые уехали в Варшаву, где прожили вместе около двух лет.

Жизнь сестры была тяжела. Любя ее страстно, муж в то же время жестоко ее мучил, но она никому не жаловалась. Кое-где, по городу ходили слухи о странном поведении профессора Блока, но в нашей семье ничего не знали, так как по письмам сестры можно было думать, что она счастлива. Первый ребенок родился мертвым. Мать горевала, мечтала о втором.

Между тем Александр Львович писал магистерскую диссертацию. Окончив ее осенью 1880 года, он собрался ехать для защиты ее в Петербург. Жену, уже беременную на восьмом месяце, взял с собой. Молодые Блоки приехали прямо к нам. Сестра поразила нас с первого взгляда: она была почти неузнаваема. Красота ее поблекла, самый характер изменился. Из беззаботной хохотушки она превратилась в тихую, робкую женщину болезненного и жалкого вида.

Диспут окончился блестяще, магистерская степень была получена; приходилось возвращаться в Варшаву. Но на время родов отец уговорил Александра Львовича оставить жену у нас. Она была очень истощена, и доктор находил опасным везти ее на последнем месяце беременности, тем более, что Александр Львович стоял на том, чтобы ехать без всяких удобств, в вагоне третьего класса, находя, что второй класс ему не по средствам.

В конце концов он сдался на увещания, оставил жену и уехал один.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Между тем, жизнь в доме шла своим чередом. Субботние вечера не прекращались, было попрежнему шумно и весело.

В одну из таких суббот Александра Андреевна почувствовала приближение родов, а к утру воскресенья, 16 ноября 1880 года, у нее родился сын — будущий поэт и свет ее жизни.

Никто из гостей не подозревал, какое великое событие происходит в боковой спальне верхнего этажа, выходившей на университетский двор. Первая, принявшая дитя на свои руки, была его прабабушка Александра Николаевна Карелина. Она держала его, пока остальные хлопотали подле ослабевшей родильницы.

Мальчик родился крупный и хорошо сложенный, но слабый. Отцу немедленно дали знать о рождении сына. К рождественским праздникам он приехал. Когда он вошел в комнату, Саша спал. Отцу захотелось видеть цвет его глаз, и он стал приподнимать ему веки, несмотря на то, что ребенка только что с трудом усыпили. Матери сделалось жутко. Она почуяла опасность: будет ли отец беречь свое дитя?

Первое время сестра кормила ребенка сама, но тут начались сцены и ссоры. Одним из поводов было какое-то ненавистническое отношение Александра

Львовича ко всей бекетовской семье. Уже в первый приезд его мы случайно узнали, что̀ скрывалось от нас до той поры. Тогда отец решил, что надо спасать дочь и стараться разлучить ее с мужем, но до времени с ней об этом не говорили. Теперь положение еще обострилось. Обращение мужа расстраивало Александру Андреевну; это дурно действовало на кормление. Ребенок кричал, мать не могла оправиться после родов. Наконец Александр Львович об'явил, что больше не желает оставаться в доме и переехал к своим родным, жившим тут же на набережной, у Дворцового моста. Уезжая, он потребовал, чтобы жена ходила к нему каждый день, что она и делала.

Ребенка пришлось отнять от груди, опыт с кормилицей не удался. Его перевели на рожок. И мать, и ребенок поправлялись плохо. И когда Александру Львовичу пришло время уезжать, он снова оставил Александру Андреевну в Петербурге, на чем настаивал и доктор. Было решено, что она вернется к мужу весною.

После его от'езда отец употребил все свое влияние на дочь, уговаривая ее расстаться с мужем ради ребенка. Понемногу она склонилась на его аргументы и кончила тем, что решила расстаться. Она написала мужу, что больше к нему не вернется, и сдержала слово.

Тяжело досталось Александре Андреевне это решенье тем более, что Александр Львович не допускал и мысли о том, чтобы с ней расстаться; он делал

неоднократные попытки вернуть жену, осыпал ее письмами, угрожал взять ее и ребенка силой, наконец, прислал телеграмму, подписанную именем ректора варшавского университета. В телеграмме стояло: «Блок тяжко болен. Присутствие жены необходимо». Но отец заподозрел подлог и сам послал телеграмму к ректору варшавского университета, осведомляясь о здоровьи профессора. На следующий же день от ректора Благовещенского получился ответ: «Блок вполне здоров».

С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка. Его обожали все, начиная с прабабушки и кончая старой няней, которая нянчила его первое время. О матери нечего и говорить. Вскоре после рождения Саши из за границы вернулась старшая наша сестра, Екатерина Андреевна. Она любила Сашу с какой то исключительной нежностью. Он оставался ее идолом до конца ее краткой жизни. Она поздно вышла замуж и не имела своих детей. Умерла на 38-м году жизни, когда Саше было одиннадцать лет. В первые месяцы его жизни она разделяла уход за ребенком вместе со всеми членами семьи. Несмотря на все старания, мальчик хирел, но к весне, при помощи мудрых советов нашего стараго врача и друга, Егора Андреевича Каррика (теперь покойного), он превратился в розового бутуза. На всю жизнь осталась только крайняя нервность: он с трудом засыпал, был беспокоен, часто кричал и капризничал по целым часам. Бывало так, что одному де-

душке удавалось его усыпить и утихомирить. С ребенком на руках дедушка подолгу прохаживался по зале, приготовляясь к какой нибудь лекции, но чаще ребенок сразу затихал у него на руках.

Лето, проведенное в деревне, окончательно укрепило Сашино здоровье. Он рос правильно, был силен и крепок, но развивался очень медленно: поздно начал ходить, поздно заговорил. К полутора годам, когда снят был с него первый портрет на руках у матери, это был толстенький мальчик с белорозовой кожей и очень светлыми волосами. К трем годам он до того похорошел, что останавливал на себе внимание прохожих на улице. Портрет пятилетняго Саши в кружевном воротнике, при всем своем сходстве не может передать всей красоты его цветов и переменчивого выражения глаз.

Саша был живой, неутомимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями. Приучить его к чему нибудь было трудно, отговорить или остановить почти невозможно. Мать прибегала к наказаниям: сиди на этом стуле, пока не угомонишься. Но он продолжал кричать до тех пор, пока мать не спустит его со стула, не добившись никакого толка.

До трехлетняго возраста у Саши менялись няньки, все были неподходящие, но с трех до семи за ним ходила одна и та же няня Соня, после которой больше никого не нанимали. Кроткий, ясный и ровный характер няни Сони прекрасно действовал на

Сашу. Она его не дергала, не приставала к нему с наставлениями. Неизменно внимательная и терпеливая, она не раздражала его суетливой болтливостью. Он не слыхал от нее ни одной пошлости. Она с ним играла, читала ему вслух. Саша любил слушать пушкинские сказки, стихи Жуковского, Полонского, детские рассказы. «Степку-растрепку» и «Говорящих животных» знал наизусть и повторял с забавными и милыми интонациями. Играл он всего охотнее в «кирпичики», в некрашеные деревяные чурочки, из которых дети обыкновенно складывают дома. Но они были у него конки и люди, кондуктора конок, лошадки. Это долго было любимой его игрой. В играх Саша проявлял безумную страстность и большую силу воображения. Иногда он увлекался одной какой нибудь игрой по целым месяцам. Не нуждаясь в товарищах, изображал целые поля сражения и с воинственными, победными кликами носился по комнатам, поражая врагов. Играя в конку, представлял в одно время и конку, и лошадей и кондуктора и мог играть так часами, — примется за еду, а думает все о том же. Его увлечения поглощали его целиком. Между прочим — корабли. Он рисовал корабли во всех видах; одни корабли, без человеческих фигур, развешивал их по стенкам детской, дарил родным и т. д. Исключительное отношение к кораблям осталось на всю жизнь.

С поступлением няни Сони связана первая поездка заграницу. Тогда было ему три года. Поехали ради тепла и морского купанья лечить его

мать и меня. Взяли с собой бабушку и няню Соню. Сначала, за невозможностью попасть в зараженный холерой Неаполь, поселились в Триесте. Там провели месяца четыре. Купанье в Триесте оказалось прекрасное. Саше нравились длинные поездки, в открытой конке, за город на морской plage и самое купанье, которое он любил чрезвычайно.

Жизнь в этом скучном городе, лишенном всяких рессурсов, надоела взрослым, но Саше было там хорошо. Он играл в свои любимые «кирпичики», привезенные из Росси, а главное, много гулял с няней Соней. Восхищали его ослы, которых прогоняли каждое утро на базар мимо наших окон, а также пароходы и лодки с оранжевыми парусами, стоявшие возле набережной и мола.

В декабре переехали во Флоренцию. Там поселились в прекрасной вилле, на краю города, близь Viale dei Colli.

Здесь иногда Саша играл с трехлетним Джульано, сыном нашей хозяйки, но чаще уходил гулять. Они с няней ходили часами, и это его не утомляло. Друзей его возраста у него не было, но он не скучал. В общем пребывание за границей длилось месяцев девять. За это время Саша еще больше поздоровел, сильно вырос; к удивлению, заграничная поездка не оставила воспоминаний, хотя было ему тогда уже четыре года, но восприимчивость, в некоторых отношениях, развивалась у него туго. В день от'езда из Флоренции произошел маленький случай. Все утро, на глазах у Сашиной матери, вертелась

Sophia, семилетняя хозяйская дочка. Она держала в руках какую то картину и старалась привлечь внимание сестры. Когда ей это удалось, она протянула ей то, что было у ней в руках и что оказалось так называемой «image sainte» — изображением Непорочной Девы. Сказав, что это для «Alessandro», Sophia убежала. Сестра сохранила картинку. Она всегда висела под стеклом над кроватью «Alessandro» и осталась на том же месте по сию пору.

В мае мы возвратились в Россию, через Москву, прямо в Шахматово, где началась та привольная жизнь, которая была возможна только в русской деревне.

Здесь кстати будет сказать несколько слов о Шахматове. Это небольшое поместье, находящееся в Клинском уезде Московской губернии, отец купил в семидесятых годах прошлого столетия. Местность, где оно расположено, одна из живописнейших в средней России. Здесь проходит так называемая Алаунская возвышенность. Вся страна холмистая и лесная. С высоких точек открываются бесконечные дали. Шахматово привлекло отца именно красотою дальних видов, прелестью места и окрестностей, а также уютностью вполне приспособленной для житья усадьбы. Старый дом с мезонином был невелик, но крепок, в уютно расположенных комнатах нашлась и старинная мебель, и даже кое-какая утварь. Все службы оказались в порядке, в каретном сарае стояла рессорная коляска. Тройка здоровых лошадей буланной масти, коровы,

куры, утки — все к услугам будущего владельца. Ближайшая почтовая станция Подсолнечная с большим торговым селом и земской больницей — в восемнадцати верстах от Шахматова. Ехать приходилось проселочной дорогой, частью, ближе к Шахматову, изрытой и колеистой, шедшей по великолепному казенному лесу «Праслово». Лес этот тянулся на многие версты и одной стороной примыкал к нашей земле. Помещичья усадьба, от которой после революции ничего не осталось, стояла на высоком холме. К дому под'езжали широким двором с круглыми куртинами шиповника, прекрасно описанного в поэме «Возмездие». Тенистый сад со старыми липами расположен на юго-восток, по другую сторону дома. Открыв стеклянную дверь столовой, выходившей окнами в сад, и вступив на террасу, всякий поражался широтой и разнообразием вида, который открывался влево. Перед домом — песчаная площадка с цветниками, за площадкой — развесистые вековые липы и две высокие сосны составляли группу. Под этими липами летом ставился длинный стол. В жаркое время здесь происходили все трапезы, и варилось бесконечное варенье. Сад небольшой, но расположен с большим вкусом. Столетние ели, березы, липы, серебристые тополя в перемежку с кленами и орешником составляют группы и аллеи. В саду множество сирени, черемухи, белые и розовые розы, густая полукруглая гряда белых нарциссов и другая такая-же гряда лиловых ирисов. Одна их боковых дорожек, осененная очень старыми

березами, ведет к калитке, которая выводит в еловую аллею, круто спускающуюся к пруду. Пруд лежит в узкой долине, по которой бежит ручей, осененный огромными елями, березами, молодым ольшанником.

Таково было это прекрасное место, увековеченное в стихах Блока и в его поэме «Возмездие».

Впервые Саша попал туда шестимесячным ребенком. Здесь прошли лучшие дни его детства и юности. Саша любил Шахматово... С ранних лет начались бесконечные прогулки по окрестным лесам и полям. К семи годам Саша знал уже все окрестности, хорошо изучил места, где водились белые грибы, где было много земляники, где цвели незабудки и ландыши, и т. д. Он особенно любил ходить за грибами, тем более, что по свойственной ему необыкновенной зоркости, находил их там, где никто их не видел. Придя домой, он, захлебываясь от восторга, рассказывал о своих находках всем, кто оставался дома и не участвовал в его торжестве.

Животных любил он до страсти. Дворовые псы были его великими любимцами. Большую нежность питал он к зайцам, ежам, любил насекомых, червей и прочих гадов, словом — все живое. (И это осталось на всю его жизнь). Саша пятилетний сочинял стихи в таком роде:

Зая серый, зая милый,
Я тебя люблю.

Для тебя то, в огороде
Я капустку и коплю.

Или:

Жил на свете котик милый,
Постоянно был унылый, —
Отчего — никто не знал,
Котя это не сказал.

Жизнь Шахматовская была полна. В первые годы у Саши не было товарищей. Он водился со взрослыми, и были у него свои друзья. Особенно любил его один из наших приказчиков, бывший в то же время и сторожем казенного леса. Звали его Иван Николаич. Это был крепкий, коренастый, плутоватый старик, милый, ласковый и симпатичный. Саша проводил с ним целые часы, смотрел на его работу. Случалось им вдвоем уезжать на рубку леса, и Саша, захватив с собой хлеба, отправлялся на целые дни, до самого обеда, который в Шахматове подавали по городски, в шесть часов.

Когда Иван Николаевич приготовлялся к посеву шахматовских полей, Саша уговаривался с ним, что будет «лешить», т. е. ставить на пашне вехи из зеленых веток для обозначения засеянных борозд. Дождавшись желаннаго дня, он вставал особенно рано и бежал к Ивану Николаевичу, горя нетерпением скорее начать. С поля возвращался гордый и счастливый, с точностью исполнив работу.

Условия летней жизни благотворно влияли на мальчика. Он не болел и зимой. Единственную тяжелую и опасную болезнь он перенес в первый год по возвращении из за границы. Это был плеврит с эксудатом, но благодаря энергичному лечению все того-же Каррика, Саша так хорошо поправился, что от этой болезни не осталось ни следа.

В первые годы одним из любимых шахматовских удовольствий было катанье на мешках с рожью, но об этом так хорошо написано в «Возмездии».

Летом много времени проводил Саша с дедушкой. Они любили ходить гулять вдвоем, заходили далеко в поисках растений для научных ботанических работ. Дедушка учил Сашу начаткам ботаники. Об этом, с благодарным чувством, вспоминает он сам в своей «Автобиографии».

Иногда Саша с дедушкой, в тележке, отправлялись на прогулку, причем мальчик садился на козлы и правил «почти тридцатилетним Серым». В таких поездках ботаника уже не играла роли. Дедушка тормошил Сашу, щекотал, опрокидывал к себе на колени и раззадоривал до того, что мальчик визжал и хохотал, как безумный. Домой возвращались очень веселые и довольные, но Саша в совершенно растрепанном виде.

Дедушка вообще поощрял детей к возне, шуму и шалостям. Бабушка любила внука не меньше, но забавляла его иначе. Она сочиняла ему прибаутки и сказки, смешила и веселила, но никогда не побуждала к возне и крику. Он любил обоих, но дедушку

больше запомнил и вспоминал о нем с большей любовью. Очевидно, то детское и стихийное, что было в дедушке, отвечало его натуре.

Первыми Сашиными товарищами оказались его двоюродные братья Кублицкие, сыновья сестры Софьи Андреевны. Старший, Феликс, известный в семье под именем Фероля (уменьшительное, придуманное Сашей) на три года его моложе, меньший — Андрюша — на пять лет. Оба мальчика проводили лето в Шахматове, а зиму в Петербурге. Они очень любили Сашу, и у них рано начались общие игры. Ни разница лет, ни то обстоятельство, что Андрюша был глухонемой от рождения, не мешали им очень весело проводить время вместе. Андрюша был очень живой и веселый ребенок. Сначала братья об'яснялись с ним знаками, потом, учительница, взятая из института глухонемых, научила его говорить и понимать по губам. Саша долго играл в детские игры, увлекался ими сильно и всегда был зачинщиком и коноводом всех предприятий. Братья во всем его слушались и веселились с ним бесконечно. На всякие клоунские выходки и уморительные штуки он был великий мастер. Хохот почти не прекращался. Саша никогда не ссорился с братьями. Он относился к ним хорошо: никогда не действовал им на самолюбие, не важничал, и, даже шутя, никогда не ударил. Один раз он нечаянно ушиб Андрюшу крокетным молотком. Андрюше было очень больно, текла кровь, он плакал, но увидав, что мать его рассердилась, он стал повторять сквозь слезы: «Сашура не

виноват, он не виноват».*) Шалостей было очень много, но все какие то безобидные. Между прочим Сашу очень любили за талантливость, деликатность и отношение к младшим братьям обе француженки гувернантки, которых брали к детям Кублицким. Самому Саше мать пробовала нанимать таких француженок, в первый раз, когда ему было семь лет, во второй раз — когда было девять. Но французскому разговору он у них не научился по той простой причине, что уж и тогда почти не разговаривал даже и по русски.

Зимой к мальчикам Кублицким присоединялись еще дети Недзевецкие и Лозинские — все родственники. Все они вшестером поджидали у окна, и когда Саша, уже гимназист, подкатывал с матерью в санках и входил в переднюю, его встречали дружными, восторженными кликами. Тут начинались игры и шумное веселье. Такие сборища устраивались по праздникам и по воскресеньям. Тогда же и в той же детской компании устроились танцклассы, приглашен был из балета старичек танцмейстер. Саша быстро перенимал все «па» и танцовальные приемы, но не увлекся танцами, да и потом никогда не танцовал. Детские, ребяческие игры увлекали его долго, а в житейском отношении он оставался ребенком чуть не до восемнадцати лет. Вообще развитие его шло двойным путем. Рано проявилась в нем наблюдательность к явлениям природы, художественные

*) В семье Сашу долго все называли Сашурой. Прим. М. Б.

наклонности. Читать выучился он в четыре года, а в пять уже сочинял стихи. Лиризм, вообще не свойственный детям, проснулся в нем рано, но сознательное отношение к жизни появилось не скоро. В его «Автобиографическом Очерке» читаем: «С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны». И далее: «Житейских опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, няней, игрушками, и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы».

Упоминаемые здесь большие квартиры были одна — на Ивановской улице, другая — на Большой Московской, где мы жили после того, как отец наш вышел из ректоров и, продолжая читать в университете лекции, сделался секретарем Вольно-Экономического Общества и редактором биологического отдела словаря Эфрона. Семью ему приходилось содержать большую, и в то время Александр Львович только начал присылать деньги на Сашины надобности.

Видаться с сыном Александру Львовичу не мешали. Он приезжал на праздники каждый год. Приходил к Саше часто, сидел в детской, но ни любви, ни симпатии мальчику не внушил. Жену он все еще уговаривал вернуться. В ответ на это она просила развода, но он упорно отказывал ей до тех пор, пока не решил сам жениться на девушке, с которой познакомился в Варшаве и которая «была похожа на Асю», как он писал потом своей матери.

После развода с мужем, когда Саше было около девяти лет, сестра Александра Андреевна повенчалась вторично с поручиком лейб-гвардии гренадерскаго полка, Францем Феликсовичем Кублицким-Пиоттух. В том же году обвенчался с Марьей Тимофеевной Беляевой и Александр Львович.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Александра Андреевна и Саша переехали на новую квартиру, в казармы лейб-гренадерскаго полка. Казармы эти — на Петербургской стороне, на набережной Невки, близко от Ботанического сада. Здесь Саша прожил лет пятнадцать. Он любил это место. Оно живописно по своему. Невка здесь очень широка, из окон казармы были видны на противоположном берегу колоссальные фабрики с трубами, а по реке весной и до глубокой осени сновали пароходы, барки, ялики, катера. Квартиры менялись сообразно чинам Франца Феликсовича. У Саши всегда была отдельная комната, обставленная уютно и удобно. Вскоре после переселения у него завелся товарищ по играм, сын одного из офицеров, Виша (Виктор) Грек.

Отдельная комната и хорошие игрушки привлекали этого мальчика, а потом стала ходить к Саше и девочка—Наташа Иванова. По вечерам дети играли втроем, но особенного веселья не выходило. Зимой на Невке устроили каток. Саше купили конь-

ки, он быстро выучился кататься, но простужался, и пришлось это оставить. В то время были у него разные домашние занятия, которые ему нравились: выпиливание, разрисовывание майоликовых вещиц, а главное переплетание книг. Это очень его увлекало. Купили ему станок, позвали солдата-переплетчика, который дал ему несколько уроков, и мальчик выучился переплетать на славу. У матери хранятся переплетенные им книги.

Отчим относился к нему равнодушно, не входил в его жизнь. Но Саша жил как то мимо этого. Об отношениях отца с матерью он тоже никогда не спрашивал, этим не интересовался, как и никакими семейными отношениями... Это у него осталось на всю жизнь.

Между тем, мать задумала отдать его в гимназию. Ей казалось, что будет это ему занятно и здорово. Но она ошибалась... На лето приглашен был учитель, студент юрист Вячеслав Михайлович Грибовский, впоследствии профессор по кафедре гражданскаго права. Студент оказался веселый и милый, не томил Сашу науками, и в свободное время пускал с ним кораблики в ручье, возле пруда. В августе 1889 года отправились поступать в гимназию. Впоследствии она была переименована в гимназию Петра I, а в то время она носила название Введенской. Помещается она на Большом проспекте Петербургской стороны, и мать выбрала ее потому, что ходить приходилось недалеко, и на пути не было мостов, а стало быть меньше шансов для простуды

Грибовский приготовил мальчика в первый класс. Он выдержал вступительный экзамен, но гимназия и вся ее обстановка произвели на него тяжелое впечатление: товарищи, учителя, самый класс, все казалось ему диким, чуждым, грубым. Потом он привык, справился, но мать поняла свою ошибку: нельзя было отдавать его в гимназию в таком нежном, ребячливом возрасте, из такой исключительной обстановки.

В то время, на нужды мальчика, Александр Львович посылал 300 рублей в год. Этого вполне хватало при тогдашних ценах. Деньги высылались аккуратно, но каждый месяц мать должна была посылать в Варшаву отцу писменный отчет обо всем, что касалось сына. Она исполняла это очень аккуратно, а в студенческом возрасте Саша сам взял на себя этот труд.

Учился он неровно. Всего слабее шла арифметика, вообще математика. По русскому языку дело шло гладко, что не помешало одному курьезному случаю: Саша принес матери свой гимназический дневник, как назывались в то время тетрадки с недельными отчетами об успехах и поведении. И в этом дневнике мать прочла следующее замечание: «Блоку нужна помощь по русскому языку». Подписано: «Киприанович». Так звали их учителя русской словесности, ветхого старца семинарского происхождения. Мать посмеялась и оставила эту заметку без внимания. Что руководило тогда этим Киприановичем — сказать трудно.

Атмосфера Сашиного детства настолько развила его в литературном отношении, что гимназия со

своими формальными приемами, разумеется, ничего не могла ему дать. Но древними языками он прямо увлекся. Тут и грамматика была ему мила, а когда он, в средних классах начал переводить Овидия, учитель стал щедро осыпать его пятерками, что и помогло ему хорошо окончить курс в 1898 году.

В пору своей гимназической жизни Саша не стал сообщительнее. Он не любил разговоров. Придет, бывало, из гимназии, — мать подходит с расспросами. В ответ — или прямо молчание, или односложные скупые ответы. Какая-то замкнутость, особого рода целомудрие не позволяли ему открывать свою душу. В младших классах гимназии дружил он с сыном профессора Лесного Института, Кучерова, даже несколько раз по веснам ездил в Лесной, но то была не дружба, а просто играли вместе. Зато в последних двух классах завелись уже настоящие друзья: то были его товарищи по классу, Фосс и Гун. Фосс — еврей, сын богатого инженера, имевшего касание к Сормовским заводам. Это был щеголь и франт, но не без поэтических наклонностей, и хорошо играл на скрипке. Гун принадлежал к одной из отраслей семьи известного художника Гуна. Это был мечтательный и страстный юноша немецкого типа. Друзья часто сходились втроем у Саши или в красивом доме Фоссов, на Лицейской улице. Вели разговоры «про любовь», Саша читал свои стихи, восхищавшие обоих, Фосс играл на скрипке серенаду Брага, бывшую в то время в моде. В весенние ночи разгуливали они вместе по Невскому,

по островам. С Гуном Саша сошелся гораздо ближе, Фосса скоро потерял из вида. Гун приезжал и в Шахматово. А после окончания гимназии они вдвоем ездили в Москву, где отпраздновали свою свободу выпивкой и концертом Вяльцевой. На последнем курсе университета Гун застрелился внезапно по романическим причинам. По этому поводу написано Сашей стихотворение. Случай произвел на него впечатление.

В те же годы, в годы ученья Саша дружил и с Греком, который был уже тогда юнкером, а потом и офицером гренадерского полка. Они разошлись уже после Сашиной женитьбы просто потому, что жизнь их шла различными путями, но у них сохранились хорошие отношения до самой смерти Грека, который убит в германскую войну, в одном из первых сражений. Грек был очень умный, страстный, самолюбивый юноша демонического склада, верил в судьбу, носил в кармане заряженный револьвер. Одно время увлекался спиритизмом. По свидетельству его жены, очень крупной и своеобразной женщины, Саша занимал в его жизни исключительное место, и такого друга, по словам покойного, у него уже после никогда не было.

В этой дружбе тоже была известная близость. Различными сторонами своей многогранной, крайне сложной натуры Саша соприкасался и с Гуном, и с Греком, и с другими встречавшимися и впоследствии на его пути, но такого друга, которому он хотел бы открыть всю душу, у него никогда не было. Сам он

в дружеских отношениях привлекал своей искренностью и благородством, ибо чужую тайну выдать был не способен и с великой готовностью входил в положение, помогая словом, советом, а впоследствии и деятельной, часто матерьяльной поддержкой.

В последних классах гимназии Саша начал издавать рукописный журнал «Вестник». Редактором был он сам, цензором — мать, сотрудниками — двоюродные братья, мальчики, Лозинский, Недзвецкий, Сережа Соловьев, мать, бабушка, я, кое-кто из знакомых. Дедушка участвовал в журнале только, как иллюстратор, и то редко. Все номера «Вестника», по одному экземпляру в месяц, — писались, склеивались и украшались рукой редактора. Картинки вырезались из Нивы, из субботних приложений к Новому Времени, наклеивались на обложку и в тексте; иногда Саша сам прилагал свои рисунки пером и красками, очень талантливые. В Вестнике он помещал и стихи, и повести, и нечто во вкусе Майн-Рида, и даже нелепую пьесу «Поездка в Италию». В пьесе было много глупого, но зато никаких претензий. Она свидетельствовала о полном незнании житейских отношений, так как хотела быть реальной, действующие лица были какие-то кутилы, но этого реализма и не хватало автору, и всякаго, кто присмотрится к «Вестнику», кроме талантливости и остороумия редактора, поразит и то обстоятельство, что в шестнадцать лет уровень его развития в житейском отношении подошел бы скорее мальчику лет двенадцати.

Было тут и шуточное стихотворение, посвященное любимой собаке Дианке, и об'явление с восклицательным знаком: «Диана ощенилась 18-го августа!», и множество об'явлений о других собаках вроде того, что: «Низачто не продам — собаку без хвоста!». Были переводы с французского, и ребусы, и загадки.

Один из сотрудников «Вестника», муж сестры Екатерины Андреевны, Платон Николаевич Краснов, особенно любил Сашу, повторял его словечки. Был он человек серьезный и не веселый, но Саше было с ним хорошо. По образованию своему он был математик, но по вкусам — скорее литератор. Он печатал в «Неделе» свои критические статьи. С Сашей сближала его в числе прочего, и любовь к древним. В четвертом классе гимназии Саша болел корью, пропустил много уроков, и Платон Николаевич сам взялся его подогнать. Дело шло у них хорошо, дружно и весело. А в «Вестнике» вскоре появилось шуточное стихотворение «дяди Платона»: Цезарева тень, бродя по берегам Стикса, кается в написании комментариев к галльской войне. Заключительные строфы этого стихотворения я приведу:

«Я думал буду славой громок,
Благословит меня потомок.
Вотще! Какой-то педагог,
Исполнен тупости немецкой,
Меня соделал казнью детской,
И проклинает меня Блок.

Когда б вперед я это знал,
Я б комментарий не писал».

В одном из номеров «Вестника», в 1894 году помещена милая сказка «Летом». Тут у Саши жуки и муравьи. Стихотворений того времени довольно много, и между прочим «Судьба», написанная размером «Смальгольмского барона» Жуковского, в то время любимого его поэта. Вот одно из лирических стихотворений этого времени:

Посвящается маме.

Серебристыми крылами
Зыбь речную задевая,
Над лазурными водами
Мчится чайка молодая.

На воде букеты лилий,
Солнца луч на них играет,
И из струй реки глубокой
Стая рыбок выплывает.

Облака плывут по небу.
Журавли летят высоко,
Гимн поют хвалебный Фебу,
Чуть колышется осока.

Не лучше удавались в то время юмористические стихотворения, которых было несколько. Вот одно из них:

Мечты.

Пародия на что то

> Мечты, мечты!
> Где ваша сладость?

Благодарю всех греческих богов,
(Начну от Зевса, кончу Артемидой)
За то, что я опять увижу тень лесов,
Надевши серую и грязную хламиду.
Читатель! Знай: хламидой называю то,
Что попросту есть старое пальто;
Хотя пальто я примещал для смеха,
Ведь летом в нем ходить — ужасная потеха!
Подкладка вся в дегтю, до локтя рукава.
Я в нем теряю все классически права,
Хотя я гимназист, и пятого уж класса,
Но все же на пальто большая грязи масса.

★

Ну вот, я, кажется, немного заболтался,
(Признаться, этого то я и опасался!)
Ведь я хотел писать довольно много,
Хотел я лето описать,
И грязь, и пыльную дорогу...
И что-ж!? Мне лень писать опять!

★

Такой уж мой удел проклятый.
Как только рифмою крылатой

Меня наделит Муза, вновь
Под голову подкладываю руку,
И на диван ложусь; читаю только «Новь»,
При этом чувствую ужаснейшую скуку...

★

Читатель! Если ты прочтешь
Сей дивный стих хоть семь раз кряду,
Морали общей не найдешь!!!!

★

Я переписала это стихотворение, сохранив все знаки препинания, тоже характерные для того времени.

Чтением в гимназические годы Саша не очень увлекался. Классиков русских не оценил, даже скучал над ними. Любил Пушкина и Жуковского, любил Диккенса, которого читал тогда в пересказах для детей, и отдал дань Майн-Риду, Куперу и Жюль Верну. Робинзон ему не нравился.

Зато в средних классах гимназии пристрастился он к театру. Ему было лет двенадцать, когда мать повела его впервые в Александринский театр, на толстовские «Плоды Просвещения». Это был утренний воскресный спектакль; исполнение — так себе, но все вместе произвело на Сашу сильнейшее впечатление. С этих пор он стал постоянно стремиться в театр, увлекался Далматовым и Дальским, в то же время замечая все их слабости и умея их в совер-

шенстве представлять. А вскоре и сам стал мечтать об актерской карьере.

Ему было лет четырнадцать, когда в Шахматове начали устраиваться представления. Начали с Кузьмы Пруткова. Поставили «Спор древне-греческих философов об изящном». Философы — Саша и Фероль Кублицкий, оба в белых тогах сооруженных из простынь, с дубовыми венками на головах. Опирались на белые жертвенники. Декорацию изображал Акрополь, намалеванный Сашиной рукой на огромном белом картоне, прислоненном к старой березе. Вышло очень хорошо. Зрители, родственники, и смеялись и одобряли.

К пятнадцати годам Сашины вкусы приобрели романтический характер. Он увлекся Шекспиром и стал декламировать монологи Гамлета, Ромео, Отелло. Лучше всего выходило у него Гамлетово «Быть или не быть». Заключительную фразу «Офелия, о нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвах» он произносил с непередаваемым проникновением и очарованием.

1897 год памятен нашей семье и знаменателен для Саши. Ему было шестнадцать с половиною лет, когда он с матерью и со мною отправился в Бад Наугейм. Сестре был предписан курс лечения ваннами от обострившейся болезни сердца. Путешествие по Германии интересовало Сашу; Наугейм ему понравился. Он был весел, смешил нас с сестрой шалостями и остротами, но скоро его рав-

новесие было нарушено многознаменательной встречей с красивой и обаятельной женщиной. Все стихи означенные буквами К. М. С. посвящаются этой первой любви. Это была высокая, статная, темноволосая дама с тонким профилем и великолепными синими глазами. Была она малороссиянка, и ее красота, щегольские туалеты и смелое, завлекательное кокетство сильно действовали на юношеское воображение. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. В ту пору он был поразительно хорош собой уже не детской, а юношеской красотой. Об его наружности того времени дают приблизительное понятие его портреты в костюме Гамлета, снятые в Боблове, у Менделеевых, год спустя.

Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика, но он любил ее восторженной, идеальной любовью, испытывая все волнения первой страсти. Они виделись ежедневно. Встав рано, Саша бежал покупать ей розы, брать для нее билеты на ванну. Они гуляли, катались на лодке. Все это длилось не больше месяца. Она уехала в Петербург, где они встретились снова после большого перерыва. Первая любовь оставила неизгладимый след в душе поэта. Об этом свидетельствуют стихи, написанные в зрелую пору его жизни.

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,

Как бесценный ларец перевязана.
Накрест лентою алой, как кровь.

В конце июля мы вернулись в Россию, приехав в Шахматово через Москву, и только тут узнали о семейном несчастьи, которое родные скрывали от нас до сих пор, чтобы не помешать лечению сестры. Без нас отца разбил паралич в тяжелой форме: отнялся язык и вся правая сторона тела. К нашему приезду он уже несколько оправился и стал привыкать к своему положению. За ним ходил выписанный из клиники служитель и сестра милосердия. Его возили в кресле по дому и по саду.

На жизнь детей болезнь деда не повлияла. Никто не мешал мальчикам веселиться. Далекие прогулки пешком и верхом, веселое купанье с собаками, хохот, — все это продолжалось по прежнему, но скоро дети Кублицкие уехали с матерью за границу. Без них настроение стало серьезнее. Саша занялся изучением роли Ромео. Он часто декламировал монолог из последнего действия: «О, недра смерти, мрачная утроба, похитившая лучший цвет земли!..» Тогда же он задумал поставить в шахматовском саду сцену перед балконом, (из «Ромео и Юлии»), но эта затея не удалась. Зимой он продолжал заниматься декламацией, все больше тяготел к сцене, любил произносить Апухтинского «Сумасшедшего», стихи Полонского, Фета. Одно время занимался даже мелодекламацией, только что входившей тогда в моду. Для мелодекламации он не пользовался тем,

что уже было готово, а брал, например, стихи Алекс. Толстого «В стране лучей» и произносил его под аккомпанимент Бетховенской сонаты «Quasi una fantasia». Торжественные звуки первой ее части гармонично сочетались с торжественностью стихов. Получалось прекрасное целое.

Весной 1898 года был кончен курс гимназии, а летом Саша возобновил, прерванное с детства, знакомство со своей будущей женой. Но прежде, чем приступать к описанию этого важного периода его жизни, надо сказать несколько слов о семье Менделеевых.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Наш отец дружески сошелся с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, когда мы были еще детьми. Он благоговел перед его гениальностью и восхищался своеобразностью его нравов. Чаще всего бывал у нас Дмитрий Иванович во времена ректорства отца. С матерью нашей он тоже был хорош, да и ко всей семье расположился. Тут была не одна симпатия, но также и то обстоятельство, что мои родители оказали ему большую нравственную поддержку в трудную и трагическую минуту его жизни. Своеобразная и крупная фигура Дмитрия Ивановича часто появлялась в нашем доме. Бывал он и в Шахматове, которое куплено по его совету. Приезжал он обычно один, в тележке, под сидением которой оказывались

привезенные для нашей матери бесчисленные томы Рокамболя и других книг в том же роде. Такое чтение было его любимым отдохновением после научных трудов, которым он предавался со свойственной ему страстностью. Он проводил у нас целые часы в интересной беседе, среди клубов табачного дыма, и уезжал в свое Боблово, расположенное в 8-ми верстах. Боблово куплено Менделеевым несколько раньше нашего Шахматова. Оно значительно больше его по количеству десятин, не так уютно, но как самая усадьба, так и местоположение значительно грандиознее. Бобловская гора — высочайшая во всей округе. Отсюда открываются необ'ятные дали. Когда Дмитрий Иванович развелся с первой женой и вступил во второй брак с Анной Ивановной Поповой, он оставил старый дом и построил новый на открытом месте, выбрав для усадьбы самую высокую часть горы, из которой пробивался ключ студеной воды прекрасного вкуса, прославленный еще со времени прежнего владельца. Тут устроен колодезь, а в нескольких саженях от него воздвигнут был и дом, большой, двухэтажный; верхний этаж деревяный, нижний каменный, с толстыми стенами — сложен был особенно крепко во избежание сотрясения при каких то тонких химических опытах, которые Дмитрий Иванович собирался производить в своей деревенской лаборатории.

Эта комната, где Менделеев проводил большую часть времени, напоминала своей причудливой обстановкой кабинет доктора Фауста. Окна ее выходи-

ли в сад, где приковывал взгляд величавый дуб, которому не менее трехсот лет, он свеж и могуч до сих пор, но его многообхватный ствол дал местами трещины и скреплен железом. В новом доме было две терассы: нижняя обвитая снаружи диким виноградом, и верхняя — открытая. Здесь играли дети. Перед домом развели прекрасные цветники и сад с фруктовыми деревьями и ягодником. От прежних времен остался старый парк. В усадьбе построили баню, флигеля, все необходимые службы. Она была далеко не так поэтична и уютна, как старое Шахматово, но на ней лежал отпечаток широких замыслов ее гениального хозяина.

Во втором браке у Менделеевых было четверо детей: два сына и две дочери. Старшая, Любовь Дмитриевна, жена поэта — лишь на год с небольшим моложе своего мужа. Она родилась также, как и он, в стенах петербургского университета. Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой — два, они встречались на прогулках с нянями. Одна няня вела за ручку крупную, розовую девочку в шубке и капоре из золотистого плюша, другая вела рослого розового мальчика в темносиней шубке и таком же капоре. В то время они встречались и расходились незнакомые друг другу. А Дмитрий Иванович, придя в ректорский дом, спрашивал у бабушки: «Ваш принц что делает? А наша принцесса уж пошла гулять». Летом обоих увозили в Московскую губернию, на зеленые просторы полей и лесов.

Сознательно они встретились в первый раз в Боблове, когда Саше было 14, а Любе — 13 лет. Приезжал Саша с дедушкой. Дети Менделеевы показывали ему свой сад, свое «дерево детей капитана Гранта». Все они вместе гуляли, лазали по деревьям, играли. Люба, в те времена, училась в гимназии Шаффе, где потом и кончила с медалью.

Вторая встреча произошла через три года после этого, когда Саша только что покончил с гимназией.

Саша приехал в Боблово верхом на своем высоком, статном белом коне, о котором не один раз упоминается в его стихах и в «Возмездии». Он ходил тогда в штатском, а для верховой езды надевал длинные русские сапоги. Люба носила розовые платья, а великолепные золотистые волосы заплетала в косу. Нежный белорозовый цвет лица, черные брови, детские голубые глаза и строгий, неприступный вид. Такова была Любовь Дмитриевна того времени.

Эта вторая встреча определила их судьбу. Оба сразу произвели друг на друга глубокое впечатление.

Люба, также, как и Саша, увлекалась театром, мечтала о сцене. И вкусы оказались сходными: оба тяготели к высокой трагедии и драме. В то же лето в Боблове решено было поставить ряд спектаклей для окрестных крестьян и многочисленных родственников. Намечены были отрывки из классических пьес и водевили. В спектаклях должны были участвовать и племянницы Менделеевыхъ, Саша стал постоянно ездить в Боблово на репетиции.

В это лето поставили два спектакля в помещении одного из обширных бобловских сараев. В глубине сарая устроили сцену с подмостками. Места для зрителей было довольно. Их набралось человек двести. Играли отрывки из «Гамлета». Произнесены были все главные его монологи. Прошла и сцена сумасшествия Офелии, и сцена с матерью. Гамлет и Офелия — Саша и Люба, мать — одна из племянниц Дмитрия Ивановича. Саша и Люба составляли прекрасную, гармоническую пару. Высокий рост, лебединая повадка, роскошь золотых волос, женственная прелесть — такие качества подошли бы к любой «героине». А нежный, воркующий голос в роли Офелии звучал особенно трогательно. На Офелии было белое платье с четырехугольным вырезом и светлолиловой отделкой на подоле и в прорезах длинных буфчатых рукавов. На поясе висела лиловая, шитая жемчугом «омоньера». В сцене безумия, слегка завитые распущенные волосы были увиты цветами и покрывали ее ниже колен. В руках Офелия держала целый сноп из розовых мальв, павилики и хмеля в перемешку с другими полевыми цветами. Хмель для этого случая Гамлет и Офелия собирали вместе, в лесу около Боблова. Гамлет в традиционном черном костюме, с плащем и в черном берете. На боку — шпага.

Стихи они оба произносили прекрасно, играли благородно, но в общем больше декламировали, чем играли.

За «Гамлетом» следовали сцены из «Горя от ума»: первая сцена Чацкого с Софьей и сцены перед балом с монологом «Дождусь ее и вынужу признанье». В роли Софьи Люба явилась в белом платье с короткой талией и рукавами и в стильной высокой прическе с локонами, выпущенными по обеим сторонам лица. Чацкий оказался не столь стильным, но красота, грустная мечтательность и проникновенный тон производили сильное впечатление. Софья выдержала роль в холодных, надменных тонах, которые составляли должный контраст с горячностью Чацкого.

После этого поставили еще сцену у фонтана из Пушкинского «Бориса Годунова». Это как то не удалось. Роль Марины играла одна из племянниц Дмитрия Ивановича.

Зрители относились к спектаклю более, чем странно. Я говорю о крестьянах. Во всех патетических местах, как в «Гамлете», так и в «Горе от ума», они громко хохотали, иногда заглушая то, что происходило на сцене. Это производило неприятное впечатление.

Осенью этого года Саша поступил на юридический факультет. Он говорил, что в гимназии надоело учение, а тут, на юридическом, можно ничего не делать. Зимой он стал бывать у Менделеевых. Они жили в то время на казенной квартире, в здании Палаты Мер и Весов, на Забалканском проспекте.

В ту же зиму он начал посещать и кузин Качаловых, дочерей тетки, урожденной Блок. Они отно-

сились к нему прекрасно, да и он с симпатией. Но как то это скоро оборвалось.

Прошла зима, а летом опять в Шахматове, и в Боблове устраивается второй спектакль, в том же сарае. На этот раз поставили сцену в подвале из Пушкинского «Скупого рыцаря». Мы с сестрой, к сожалению, опоздали на это представление, но, судя по рассказам, Саша играл интересно. Потом ставили еще и сцену из «Каменного Гостя», и «Горящие письма» Гнедича, и чеховское «Предложение». В «Предложении», изображая жениха, Саша до того смешил не только публику, но и товарищей актеров, что они прямо не могли играть. Собрались ставить «Снегурочку», но это почему то не состоялось, и спектакли в Боблове больше уж не возобновились. Но поездки в Боблово, верхом на неизменном «Мальчике» не прекращались, и часто возвращался он поздним вечером, при звездах.

Тут начинается непрерывная вязь стихов о Прекрасной Даме, сплетенная из переживаний поэта. Он так и говорит в своем «Автобиографическом Очерке»: «Лирические стихотворения все с 1897 года можно рассматривать, как дневник». И дальше: «Серьезное писание началось, когда мне было около восемнадцати лет. Все это были лирические стихи, и ко времени выхода моей первой книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800. В книгу из них вошло лишь около ста, (поэт говорит, конечно, о первом издании «Грифа». Следующие издания первого тома — полнее). Далее идет важное

свидетельство поэта, освещающее его отношение к Вл. Соловьеву: «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями всем существом моим овладела поэзия Вл. Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне не понятна. Меня тревожили знаки в природе, но все это я считал «суб'ективным» и бережно оберегал от всех».

С поэзией Вл. Соловьева Александр Александрович познакомился не ранее 1900 года, т. е., стало быть, на втором курсе. К этому времени уж была написана часть стихов о «Прекрасной Даме». Таким образом влияние его на Блока приходится считать несколько преувеличенным: он только помог ему осознать мистическую суть, которой были проникнуты его переживания. И это было не внушение, а скорее радостная встреча родственных по духу.

Из Шахматова, с дороги, пролегающей между полями по направлению к станции, в сторону заката, видна Бобловская гора, обозначенная на горизонте зубчатой полосой леса.

... Там над горой Твоей высокой
Зубчатый простирался лес...

В последние годы своей жизни Александр Алексадрович собирался издать книгу «Стихов о Прекрасной Даме» по образцу дантовской Vita Nuova, где каждому стихотворению предшествуют примечания вроде следующего: «Сегодня я встретил свою донну и написал такое-то стихотворение». С подобными комментариями хотел издать свою книгу и Блок.

1901 год, как говорит он в своем «Автобиографическом Очерке», был для него исключительно важен и решил его судьбу. Лето этого года он называл «мистическим».

Осенью Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы г-жи Читау, где пробыла всего год. Курсы помещались на Гагаринской, потом перешли на Моховую:

... Там — в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет набегал, и снова тьма бродила...
. . . .
Там в сумерках дрожал в окошках свет,
И было пенье, музыка и танцы.
А с улицы — ни слов, ни звуков нет, —
И только стекол выступали глянцы...

В урочные часы Александр Александрович бродил около этого дома и встречал Любовь Дмитриевну, выходившую от Читау:

... Я долго ждал — ты вышла поздно,
Но в ожиданьи ожил дух...

Цитат можно привести много.

В том же памятном 1901-м году изменилась университетская жизнь Александра Александровича: пройдя два курса и перейдя на третий, он понял, что юридические науки ему глубоко чужды. Мать уговаривала его перейти на филологический факультет. Сначала он не решался, опасаясь, что отец, испугавшись расходов на два лишние курса, прекратит высылку денег. Но Александр Львович, в ответ на письмо, выразил, напротив, свое одобрение. И с осени 1901 года состоялся переход на филологический факультет. Здесь Александр Александрович сразу попал в свою сферу, увлекся лекциями профессора Зелинского, некоторых других профессоров, но под конец всетаки сильно устал от университета. Его удручали главным образом экзамены, к которым он готовился с тоской и напряжением. Быть может, ему не удалось бы кончить кандидатом, еслибы не зачетное сочинение о Болотове и Новикове, которое он представил профессору Шляпкину, и рукопись которого покойный профессор, по его словам, «затерял». Государственный экзамен по славяно-русскому отделению сдан был в 1906 году.

В «Автобиографическом Очерке» читаем: «Университет не сыграл в моей жизни особенно важной роли, но высшее образование дало во всяком случае некоторую умственную дисциплину и известные на-

выки, которые очень помогали мне и в историко литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»)». И далее: «Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, долею научности, которая в них заключается, я буду обязан университету».

Товарищеская жизнь, общественность и политика не коснулись поэта. Всего этого он чуждался. Природа была ему ближе. По ней он гадал отчасти и о грядущих событиях.

Он был на II-м курсе юридического факультета, когда разыгралась известная история с избиением студентов на Казанской площади. В университете начались волнения. Студенты бойкотировали лекции и экзамены, следили за тем, чтобы все это не посещалось ни товарищами, ни профессорами. Более чуткие и популярные профессора сами прекратили чтение лекций и отменили экзамены. Но нашлись и такие, как, например, Георгиевский, которые продолжали экзаменовать немногих, оставшихся в противоположном лагере.

Александр Александрович был так далек от университетской жизни, что даже и не подозревал о бойкоте. Он, как ни в чем не бывало, явился на экзамен к Георгиевскому и был оскорблен каким то студентом, принявшим его за изменника и бросившим ему в лицо ругательство. Собственное равнодушие порой тяготило его самого. Об этом написано стихо-

творение с эпиграфом из Лермонтова: «К добру и злу...» и т. д.

Привычка относиться с беспощадной критикой ко всем движениям своей души, к собственным поступкам составляла одну из характерных черт его природы: «Что за охота не быть беспощадным?» говорил он матери еще в прошлом 1921 году.

Но так называемый «либерализм» претил ему неудержимо. Как и всякий крупный художник, он был революционен. Все стихийное было ему близко и понятно. Предчувствие революции началось давно. В стихах, в статьях, написанных еще до 1905 года, рассыпано не мало предсказаний.

Еще на одном из первых курсов, когда Александру Александровичу было лет двадцать, он записался членом одного из драматических кружков Петербурга. Тогда он был в полном расцвете своей красоты и с жаром относился к театру. В «кружке» пришлось ему выступить раза четыре, исключительно в ролях стариков, самых незначительных. Опытный jeune premier не первой молодости явно не давал ему ходу. На это открыл ему глаза один из старых членов «кружка», которого, очевидно, подкупили его молодость, красота и детская доверчивость. После разговора с ним, Александр Александрович вышел из кружка, и актерская карьера перестала казаться ему столь заманчивой, а понемногу он и вовсе отошел от этой мысли.

Жизнь его была полна и без этого. В то время он много писал, но не показывал своих стихов ни-

кому, кроме матери и меня. В 1900 году, под настойчивым давлением матери, он, наконец, понес свои стихи в редакцию одного из журналов. Случай этот настолько характерен для того времени и для самого поэта, что я привожу его целиком, как он описан в его «Автобиографическом очерке»:

«От полного незнания и неумения обращаться с миром, со мной случился анекдот, о котором я вспоминаю теперь с удовольствием и благодарностью: как то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир Божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волненьем дал ему два маленьких стихотворения, внушенные мне Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься стихами, когда в университете Бог знает что творится!» И выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах».

Хорошо, что поэт так легко простил либеральному редактору его тупость, но то была единственная неудача такого рода.

Без всяких усилий с его стороны пришла к нему сначала известность, а потом и слава. В первый раз стихи его должны были появиться в 1902 году, в студенческом сборнике под редакцией Б. Никольскаго

и Репина, но «Сборник» запоздал чуть не на год. И в 1903 году, опередив «Сборник», стихи напечатал журнал «Новый Путь» и почти одновременно московский альманах «Современные Цветы».

В Москве Блок был оценен и узнан прежде, чем в Петербурге. Случилось это потому, что в Москве было ядро молодых мечтателей, мистические настроения и чаяния которых сближали кружок с поэтом. Во главе их стоял Андрей Белый, в «Воспоминаниях» которого читатели найдут все подробности о кружке «Аргонавтов» и подробную характеристику той среды, которая восприняла поэзию Блока.

Стихи его попали в Москву через Ольгу Михайловну Соловьеву, нашу двоюродную сестру, бывшую замужем за младшим братом философа, Михаилом Сергеевичем. Ольга Михайловна находилась в деятельной переписке с матерью поэта как раз в те годы усиленного писания стихов; и время от времени эти стихи в Москву посылались. Ольга Михайловна, Михаил Сергеич, оба были люди с тонким художественным вкусом, сын их Сережа, гимназист в то время, — способный, рано развившийся юноша, тоже писал стихи, был настроен мистически и дружил с Борей Бугаевым (Андрей Белый), который жил в том же доме и бывал у Соловьевых чуть не каждый день.

Соловьевы первые оценили стихи Блока. Их поддержка ободряла его вначале его литературного поприща. Когда же его стихи были показаны Андрею Белому, они произвели на него ошеломляющее впе-

чатление. Он тут же понял, что народился большой поэт, не похожий ни на кого из тех, которые славились в то время. О появлении стихов Блока он говорил, как о событии. Об этом сообщила Ольга Михайловна матери поэта. Известие обрадовало и мать, и сына. Стихи стали распространяться в кружке «Аргонавтов», в котором числился в то время некий Соколов, писавший под псевдонимом Кречетова. Соколов основал издательство «Гриф» и в один прекрасный день явился к Блоку (в то время студенту третьего курса) для переговоров об издании его стихов. Первый сборник «Стихов о Прекрасной Даме» в издании «Грифа» вышел в 1905 году.

Не без влияния Соловьевых обошлось и знакомство Александра Александровича с Мережковскими, которые ввели его в литературные кружки Петербурга. На одном из редакционных вечеров «Нового Пути», во главе которого они стояли, познакомился он и с Брюсовым, приезжавшим в Петербург не то в 1902-м, не то в 1903 году.

Знакомство с Мережковскими произошло таким образом: Александр Александрович пришел к ним в дом брать билет на какую то лекцию. Когда он назвал свою фамилию, Зинаида Николаевна воскликнула: «Блок? Какой Блок? Это вы пишете стихи? Это не о вас говорил Андрей Белый?» Узнав, что он и есть тот самый Блок, о котором ей говорили Соловьевы и Андрей Белый, Зинаида Николаевна повела его к мужу, и знакомство состоялось. В этот год Александр Александрович довольно часто бы-

вал у Мережковских. Он очень ценил их обоих, как писателей и собеседников. В числе «событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших так или иначе» он, в своем «Автобиографическом Очерке» упоминает и о знакомстве с Мережковскими. Пути их оказались различны, и с течением времени они разошлись. Высокомерное, а порой и враждебное отношение Мережковских на поэта не влияло. Он ценил людей по существу, а не по тому, как они к нему относились, и если признавал в них талант, ум, высокие качества души и сердца, он не менял своих мнений и тогда, когда приходилось переносить личные обиды.

Еще на юридическом факультете Александр Александрович сошелся с Александром Васильевичем Гиппиусом. Гиппиус очень любил и стихи Блока, и самого автора. В университетские годы они часто видались, посещали друг друга и встречались у общих знакомых, где вместе дурачились и веселились. Оба увлекались Московским Художественным Театром, до хрипоты вызывали артистов, бегали за извощиком, на котором уезжал из театра Станиславский и т. д. Первые гастроли Московского Художественного Театра являлись настоящим событием для всех нас. На последние деньги брались билеты, у кассы выстаивали по суткам. Представление чеховских «Трех сестер», было апофеозом того, что давал нам в то время этот театр. И самая пьеса, и постановка, и исполнение производили впечатление верха искусства, переходившего даже его границы. Нам прови-

делись неведомые дали, просветы грядущего освобождения. Глумление «Нового Времени» еще больше разжигало ревность к театру и боевой пыл его приверженцев. Для той тусклой эпохи это был дикий взрыв увлечения. Гиппиуса и Блока сближало их страстное отношение к театру. Но вскоре после окончания университета Александр Васильевич уехал на службу в провинцию. Отношения и заглазно оставались прекрасными.

В августе 1900 года уехала в Сибирь сестра Софья Андреевна с мужем и сыновьями. От'езд произошел в конце лета, проведенного по обыкновению в веселых дурачествах. Все три брата ездили вместе верхом, устраивали смешные представления на шахматовском балконе, много хохотали. Но за те два года, которые семья сестры провела в Сибири, братья потеряли всякую связь. Их сближали только игры и, когда пришел юношеский возраст, они разошлись, стали чуждым друг другу.

Вернувшись из Сибири, сестра застала родителей умирающими. Мать наша уже много лет страдала жестокой внутренней болезнью, с которой боролась только благодаря исключительно крепкой натуре. Дедушка, который был на 9 лет старше ее, умер в Шахматове 1-го июля 1902 года, на 77-м году жизни. Это случилось ночью; все мы, в том числе и внук его, Саша, были в комнате. Он скончался тихо. Смерть его уже ни для кого из нас не была горем. Пять лет паралича не легко дались его близким. Они оставили след тяжелых забот и временно затуманили

светлый облик покойного. На смерть деда написано стихотворение.

... Мы долго ждали смерти или сна...

После некоторых совещаний решено было хоронить дедушку в Петербурге. Александр Александрович своими руками положил его в гроб. Его отношение к смерти всегда было светлое. Во время панихид он сам зажигал свечи у гроба. Его белая, вышитая по борту рубашка, кудрявая голова, сосредоточенное выражение больших благоговейных глаз в эти дни служения над покойником, — неизгладимо остались в памяти.

Отца отпевали в деревенской церкви села Тараканова, за 3 версты от Шахматова. Оттуда он был прямо увезен на вокзал железной дороги. Тело его сопровождали только мы, дочери. Внуки остались с больной бабушкой, за которой ухаживала доверенная прислуга. Похоронили дедушку в жаркий июльский день на Смоленском кладбище, рядом с могилой его любимой дочери, Екатерины Андреевны. В числе тех сравнительно немногих, кто в это глухое время встречал его тело на петербургском вокзале, был Дмитрий Менделеев.

Ровно через три месяца после отца, 1-го октября, скончалась в Петербурге и наша мать. И ее тело положил в гроб любимый внук. Бабушку тоже похоронили на Смоленском.

В январе 1903-го года Александр Александрович сделал предложение и получил согласие Любови Дмитриевны Менделеевой.

Но прежде, чем идти дальше, мне хочется сказать несколько слов об отношении его к матери.

До женитьбы (он женился на 23-м году своей жизни) мать была для него самым близким человеком на свете, но и с ней он был далеко не вполне откровенен. В них было так много общего, что Саша говорил порою: «Мы с мамой — почти одно и тоже», Близкие люди это понимали. Общая склонность к мистицизму, повышенная до болезненности чувствительность и тонкость восприятий, та нежность, которая причиняла ему столько страданий при соприкосновении с жизнью — все это равно характерно для обоих. Но у него это проявлялось в сильнейшей степени. Детская шаловливость и способность заражать других своим весельем, то, что отличало его мать до той поры, пока жизнь не смяла ее своей тяжелой рукой, — все это присутствовало и в нем, и даже некоторые противоречия были у них общие: чуждаться людей, уставать от них, временами их ненавидеть и в то же время глубоко ими интересоваться и каждому, кто в них нуждается, щедро и не щадя сил, давать лучшее, что есть в душе, откликаясь на их призыв.

Оба они, попав в буржуазную военную среду из исключительной атмосферы бекетовского дома, чувствовали себя в ней чужими и скованными и обращались к тому, что оставили. Служебные интересы,

стоявшие на первом плане у Франца Феликсовича, были им глубоко чужды. Все это еще больше их сближало в те годы, когда Саша начал писать уже не детские стихи. Много лет мать была его единственным советником. Она указывала ему на недостатки первых творческих шагов. Он прислушивался к ее советам, доверяя ее вкусу.

Он любил мать глубоко, но не был из'явителен. Это выражалось не в ласках. Ласки были ему вообще несвойственны. Его привязанность проявлялась в каких нибудь особых заботах, в доверии к ней, в одном мимолетном слове или движении. И больше всего в беспокойстве о ее здоровьи и душевном состоянии. Тут он был до крайности чуток, что проявлялось особенно тогда, когда она старалась скрыть от него свое состояние. Он любил делать ей подарки, мальчиком дарил ей, на свои скудные карманные деньги, какие нибудь безделушки вроде вазочек для цветов. Рабочий ящик и его принадлежности — все его подарки; юношей он стал дарить ей книги.

В «Автобиографии» читаем: «Детство мое прошло в семье моей матери. Здесь господствовали в общем старинные понятия об литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по Верленовски, преобладание имела здесь éloquence. Одной только матери моей свойством был постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musique находили поддержку у нее». В литературных вкусах мать и сын в те времена сходились. Такой поэт, как Аполлон Григорьев, вообще мало популяр-

ный, был одним из любимцев Александры Андреевны еще в юном возрасте, Александру Александровичу он, как известно, был тоже особенно дорог. Фет, Полонский, Тютчев — все это воспринял поэт с юных лет. Вкус к литературной прозе проявился очень поздно, вместе со вступлением поэта в жизнь. Впоследствии исключительно привязался он к Флоберу и больше всего к роману его «Education sentimentale». В нашей семье почему-то не любили Флобера, и сестра Александра Андреевна сражалась из за него со своей матерью. Но за то специалистом по Флоберу оказался ее первый муж, с которым они вообще перечитали множество книг. Сестра читала мужу вслух. А за чтением следовали бесконечные разговоры. За два года совместной жизни в Варшаве Александр Львович многому научил жену. Он пошел навстречу ее душевным стремлениям. Ее художественные вкусы под его влиянием и расширились, и углубились. Муж с'играл большую роль в развитии ее личности и подготовил почву для понимания поэзии сына. Тем более непонятно, почему он сам так странно относился к его стихам. Стихи эти посылал ему Александр Александрович в письмах, но ничего кроме холодной насмешки и довольно едкой критики не получал от него в ответ. Быть может, это был просто педагогический прием? Этот вопрос остается неразрешимым. По своему Александр Львович любил сына. Это видно из писем его к Александре Андреевне, к сожалению, погибших при разгроме Шахматова. Но в часы свиданий с сыном отец то-

мия его своей отвлеченностью, сухостью, цинизмом, нескончаемой иронией и не сделал ничего для сближения с сыном.

Вторая жена Александра Львовича тоже недолго прожила с ним, кажется, года четыре. Покидая мужа, она спасала дочку, трехлетнюю Ангелину. На этот раз муж не противился ее от'езду. Но это окончательное крушение семейного очага сильно его изменило: он потерял самоуверенность, стал болеть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В январе 1903 года разразилось событие, которое произвело на Сашу горестное впечатление. Умерли Соловьевы, Михаил Сергеич и Ольга Михайловна. Оба были дороги нашей семье. Михаил Сергеич был человек обаятельный. С разносторонним умом он соединял железную волю. Этот маленький хрупкий человек с болезненно бледным лицом и тщедушным телом оказывал огромное влияние на всех, кто стоял к нему близко. Он был всеобщим любимцем; любили его и родные, и друзья, и многочисленные знакомые. В нашей семье — все, начиная с моих родителей и кончая Сашей. Ольга Михайловна тоже была ему под стать. И вдвоем они составляли гармоническую пару, связанную глубокой обоюдной любовью и общностью интересов. Вокруг них создавалась исключительная атмосфера: чуткая, одухотворенная, чуждая всякой условности и банальщины. Со-

ловьевы бывали у нас и в Петербурге, и в Шахматове. Их приезда ждали, как праздника. Зимой они жили в Москве, летом в Дедове (именье матери Ольги Михайловны. О нем упоминает в своих воспоминаниях Андрей Белый). В обстановке того старинного флигеля, где они жили, было что то бесконечно привлекательное и своеобразное. В нем царил зеленый сумрак от близко разросшихся деревьев. Очень старая мебель, старинные книги в переплетах из свиной кожи; по стенам — эскизы Ольги Михайловны (по профессии она была художница) и наброски с картин старинных мастеров. И ко всему этому так шел облик Михаила Сергеевича с его тихой спокойной манерой, и его красивая жена со смуглым лицом цыганского типа и вспыхивающими глазами неуловимого цвета. В этом флигеле бывал и Александр Александрович. Все ему здесь нравилось. Единственный сын Соловьевых, Сережа, приезжал к нам в Шахматово еще ребенком, вместе с отцом. Потом одно время он стал ездить каждое лето. В пору создания стихов о Прекрасной Даме началось более тесное сближение с этим мальчиком, рано приобщившимся к литературе, талантливым и развитым не по летам. Все его друзья, начиная с самого близкого, Бориса Николаевича Бугаева, были значительно старше его, но это не мешало ему идти с ними в ногу.

Михаил Сергеевич умер очень рано. Ольга Михайловна не решалась доживать свою жизнь без него. Она застрелилась тут же, через несколько минут после его кончины. Сереже было в то время 16 лет.

Но у него было столько родных и любящих друзей, и они поддержали его в трудную минуту. А больше всего поддержала его «тетя Соня», та самая добрая и светлая Софья Григорьевна Карелина, о которой я упоминала раньше. Она так же, как и нашему Саше, приходилась Сереже внучатной теткой.

Александр Александрович узнал о кончине Соловьевых из письма З. Н. Гиппиус, которой прислали эту весть из Москвы. Пораженный, расстроенный пришел он к матери, сообщил ей горестную новость, опустился перед ней на колени и стал ее ласкать. Эта смерть огорчила всех нас, но для него и для его матери она была настоящим ударом.

В июне того же года Александру Александровичу пришлось опять сопровождать мать в Наугейм. Снова обострилась ее болезнь сердца. На шесть недель приходилось расставаться с невестой. И переписывались они в то время деятельно. Свадьбу назначили на 17 августа. А в середине июля мать и сын уже вернулись в Шахматово. К свадьбе приехал из Петебурга Франц Феликсович и из своего Трубицына — «тетя Соня». Она очень любила Сашу и, несмотря на свои 78 лет, была еще вполне бодрой и живо интересовалась всем, что его касалось, и его стихами, которые иногда умела ценить. Восемнадцатилетний Саша гостил у нее в Трубицыне. Ему было весело в этом старом гнезде, полном милой и светлой старины.

Свадьбу назначили в 11 часов утра. День выдался дождливый, прояснило только к вечеру. Все мы

встали и нарядились с раннего утра. Букет, заказанный для невесты в Москве, не поспел к сроку. Пришлось составить его дома. Саша с матерью нарвали в цветнике крупных розовых астр. Шафер, Сережа Соловьев, торжественно повез букет в Боблово на тройке нанятых в Клину лошадей, приготовленных для невесты и жениха. Тройка была красивая, рослая, светло серая, дуга разукрашена лентами. Ямщик молодой и щеголеватый.

Мать и отчим благословили Сашу образом Спасителя. Благословила его и тетя Соня.

Венчание происходило в старинной церкви села Тараканова. То была не приходская церковь новейшего происхождения, но старинная, барская, построенная еще в Екатерининские времена. Усадьба с запущенным садом, расположенном на горе, у пруда, давно заброшена помещиками, но белая каменная церковь Михаила Архангела, где службы совершались изредка, хорошо сохранилась в описываемое время. Она интересна и своеобразна по внутреннему убранству и стоит среди зеленого луга, над обрывом.

В церковь мы все приехали рано и невесту ждали довольно долго. Саша в студенческом сюртуке, серьезный, сосредоточенный, торжественный.

К этому дню из большого села Рогачева удалось достать очень порядочных певчих. Дождь приостановился и, стоя в церкви у бокового окна, мы могли видеть, как под'езжали свадебные гости. Все это были родственники Менделеевых, жившие тут же, неподалеку. Лошади у всех бодрые и свежие. Дуги

разукрашены дубовыми ветками. Набралась полная церковь. И, наконец, появилась тройка с невестой, ее отцом, сестрой Марьей Дмитриевной и мальчиком, несшим образ. В церковь вошла она под руку с Дмитрием Ивановичем, который для этого случая надел свои ордена. Он был сильно взволнован. Певчие запели: «Гряди, голубица...»

Да, воистину — голубица...

Она венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное, батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата. На прекрасную юную пару невозможно было смотреть без волнения. Благоговейные, торжественные, красивые, — как они молились тогда! И воистину великое совершалось таинство — таинство сечетания двух душ, созданных друг для друга. Даже старый священник, человек грубый и нерасположенный к нашей семье, был видимо тронут и смотрел с улыбкой на жениха и невесту. Шаферов было несколько. Об одном из них, Развадовском, упоминает в своих заметках Андрей Белый. Это был молодой родовитый поляк-католик, товарищ одного из братьев Любы, Ивана Дмитриевича, бывшего шафером жениха. Развадовский — шафер невесты. Свадьба эта была для него событием, повлиявшим на всю его жизнь. После свадьбы он уехал в Польшу и поступил в монастырь.

Обряд совершался неторопливо. Когда пришло время надевать венцы, мы увидели не золотые, разукрашенные, к которым привыкли в городе, а ярко

блестевшие серебряные венцы, которые, по старинному, сохранившемуся в деревне, обычаю, надели прямо на головы. Слова: «Силою и славою венчайя» прозвучали особенно торжественно. Дмитрий Иванович и Александра Андреевна все время плакали от умиления и от сознания важности того, что совершалось. Когда венчание кончилось, молодые долго еще прикладывались к образам, и никто не посмел нарушить необычайного настроения этих Божьих детей.

При выходе из церкви их встретили мужики, которые поднесли им хлеб-соль и белых гусей. После венчания они, на своей нарядной тройке, покатили в Боблово. Мы все за ними. При входе в дом, старая няня осыпала их хмелем. Мать невесты, по русскому обычаю, не должна присутствовать в церкви, и Анна Ивановна соблюла этот обычай. В просторной гостиной верхнего этажа стол быт накрыт покоем. Нам задали настоящий свадебный пир. А на дворе собралась в это время целая толпа разряженных баб, которые пели, величая жениха, невесту и гостей. Им посылали угощение, деньги. Когда розлили шампанское, Сергей Михалыч Соловьев провозгласил здоровье молодых. Но молодые не остались с нами до конца пира. Они торопились к поезду и уехали в Петербург, где уже приготовлено было для них помещение в квартире отчима. Там ждала их и прислуга.

Комнаты Блоков в квартире отчима, составляли как бы отдельную квартиру: расположены они были в стороне, и попадать туда можно было только из

передней. Большая спальня, окнами на набережную, а прямо из передней — маленький кабинет, выходивший окном в светлый казарменный корридор. Нижние стекла окна заклеили восковой бумагой с изображениями рыцаря и дамы в красках. Получалось впечатление яркой живописи на стекле. Мебель в кабинете старая, вся бекетовская. Письменный стол бабушки, служивший поэту и впоследствии, во всю его остальную жизнь. Дедовский диван, мягкие кресла и стулья, книжный шкаф. На полу — восточный ковер.

В первую зиму молодые Блоки с'ездили в Москву, где было хорошо, и впечатление осталось светлое. Тут произошло знакомство с Андреем Белым и с кружком аргонавтов, где встречались и с Бальмонтом, и с Брюсовым, и с другими московскими поэтами. Эти московские дни так подробно описаны у Андрея Белого, что мне нечего прибавить. В Петербурге студент и курсистка посещали лекции: Ал. Ал. ходил в университет, Люб. Дм. — на Бестужевские курсы. В этом же году очень близко сошлись с Евгением Павловичем Ивановым. Об этом — в его воспоминаниях. Познакомились с сестрами З. Н. Гиппиус. Татьяна Николаевна, художница, стала бывать в доме и весной 1906 года принялась за портрет поэта. Нарисован он карандашем; в сходстве, в характере передачи много ценного. Портрет крупный; костюм — черная блуза, белый воротник — гладкий, не кружевной, как писал кто-то (тот же, что на открытках). Окончив, Татьяна Николаевна подарила

свое произведение матери поэта. Портрет и теперь висит у нее в комнате.

В этом году Блоки уехали в Шахматово ранней весной. Скоро явилась туда и я и привезла с собой прислугу и старого песика-таксу Пика, принадлежавшего покойному дедушке. Пик не отходил от дедушки во все время его болезни, а после его смерти стал очень мрачен и угрюм. Он почти никого к себе не подпускал, но Сашу обожал, как и все собаки.

Блоки поселились в отдельном флигеле, стоявшем во дворе, при самом в'езде в усадьбу. От двора он отделялся забором, за которым подымались кусты сирени, белых жасминов, шиповника и ярких прованских роз. Маленький этот дом состоял из четырех комнат, с центральной печкой, сенями и крытой наружной галлереей вроде балкона. Со двора—калитка, и короткая прямая дорожка к ступеням крыльца. В сенях — лестница на чердак. Туда Саша лазил, выпилил слуховое окно, и с чердака открылись дали:

Я пилю наверху полукруг—
Я пилю слуховое окошко...

И дальше

В остром запахе таящих смол
Подо мной распахнулась окрестность...

Поздней весной, в самый разгар цветенья сирени и яблонь, приехала и мать. Тут Блоки начали устраивать и украшать свое жилье. Мы с сестрой предоставили Любе заветный бабушкин сундук, стоявший

у нас в передней. Там оказались настоящие сокровища: пестрые бумажные веера, новый верх от лоскутного одеяла, куски пестрого ситца. Все это вынималось с криками радости и немедленно уносилось во флигель. Целый день дети бегали из флигеля в дом и обратно, точно птицы,таскающие соломинки для гнезда. За ними по пятам трусили две таксы: мой Пик и сестрин Краб. Погода была ужасная: холод, ветер, а по временам даже снег. Но дети этого не замечали.

Когда все было готово, нас позвали смотреть. Убранство оказалось удивительное. У каждого была своя спальня; кроме того—общая комната—крошечная гостиная, куда поставили диванчик, обитый старинным зеленым кретоном с яркими букетами. Перед диваном — большой стол, покрытый, вместо скатерти, пестрым верхом лоскутного одеяла. Вокруг стола несколько удобных кресел; по стенам полки с книгами. На столе лампа с красным абажуром, букет сирени в вазе, огромный плоский камень ввиде подставки. На стенах, обитых вместо обоев деревяной фанеркой, без всякой симметрии, в веселом беспорядке расвесили они пестрые веера, наклеили каких то красных бумажных рыбок, какие то незатейливые картинки. Вышло весело и ужасно по детски.

В то же лето занялись они устройством своего сада. Прежде всего соорудили дерновый диван. Его устроили в углу, где сходились две линии забора. Диван сработан был основательно и вышел очень

удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки очень его любили и называли «канапэ» в память стихотворения Болотова «К дерновой канапэ». С боков, по сторонам его посадили они два молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень пышно; через несколько лет они сошлись ветвями и осенили канапэ. Между крыльцом флигеля и диваном, на небольшой солнечной лужайке, были посажены кусты роз — белых, розовых и красных. Желтые лилии, лиловые ирисы, розовые мальвы, все принялось отлично. В тот же год, вдоль забора, со стороны полей и дороги, вырыта была глубокая канава, приготовленная для посадки деревьев. И на следующий год, вдоль всего забора, насадили молодых елок, лип, берез, рябин, дубков. Все принялось как нельзя лучше и через несколько лет густо заслонило сад и жилье.

Все это устроили Саша и Люба вдвоем своими руками без посторонней помощи. Саша очень любил физический труд. Была у него большая физическая сила, верный и меткий глаз: косил ли он траву, рубил ли деревья или рыл землю—все выходило у него отчетливо, все было сработано на славу. Он говорил даже, что работа везде одна: «что печку сложить, что стихи написать»...

Передавая свое первое впечатление при встрече с молодыми Блоками в Шахматове, Андрей Белый говорит: «Царевич с Царевной, срывалось в душе... Эта солнечная пара среди цветов полевых так запомнилась мне».

Да, именно такое впечатление производили они тогда. Вся жизнь этих светлых детей со стороны казалась сказкой. Глядя на них, художник нашел бы тысячу сюжетов для сказок русских, а иногда и заморских. У них все совершалось как то не обиходно, не так, как у других людей. Его работы в лесу, в поле, в саду казались богатырской забавой: золотокудрый царевич крушил деревья, сажал заповедные цветы в теремном саду. А вот царевна вышла из терема и села на солнце сушить волосы после бани. Она распустила их по плечам, и они покрыли ее золотым ковром почти до земли: не то Мелиссанда, не то—золотокудрая красавица из сказок Перро. Вот она перебирает и нижет бусы. Вот срезает отцветшие кисти сирени с кустов — такая высокая, статная в своем розовом платье с белым платком над черными бровями.

В это лето Андрей Белый в первый раз посетил Шахматово. Все это описано в его воспоминаниях, но я прибавлю несколько слов от себя.

Очень забавны были шаржи Сергея Соловьева: философы Lapan и Pampan и будущие споры филологов XXII века смешили нас до изнеможения, были в высшей степени остроумны, но все таки нельзя не вспомнить, что поведение «блоковцев» не всегда соответствовало тому серьезному смыслу, который они придавали своему культу. В их восторгах была изрядная доля аффектации, а в речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистиче-

ские выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически. Стоило ей надеть яркую ленту, иногда просто махнуть рукою, как уже «блоковцы» переглядывались с значительным видом и в слух произносили свои выводы. На это нельзя было сердиться, но это как то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая. Шутки Сережи, его пародии на собственную особу облегчали дело, но и тут оставался какой то неприятный осадок. Сам Александр Александрович никогда не шутил такими вещами, не принимал во всем этом никакого участия и, относясь ко всему этому совершенно иначе, тут предпочитал отмалчиваться.

Упоминание мною о «Блоковцах» в шаржах С. М. Соловьева требует пояснения. В воспоминаниях Андрея Белого, которые прочтут, б. м., не все читатели моей биографии, есть следующий отрывок, заключающий сущность одной из сторон теории Блока о Прекрасной Даме, как понимал ее тогда (еще до личного знакомства с поэтом, только по его стихам и письмам к нему) Андрей Белый: «Прекрасная Дама по Ал. Ал. меняет свое земное отображение, и встает вопрос, подобный тому, как папа является живым продолжением апостола Петра, так может оказаться, что среди женщин, в которых зеркально отражается новая богиня Соловьева, может оказаться Единственная, Одна, которая и будет естественно тем, чем Папа является для правоверных католиков... Она может оказаться среди нас, как есте-

ственное отображение Софии, как Папа своего рода (или «мама») Третьего Завета».

При личном знакомстве с Люб. Дм. Блок—Андрей Белый, С. М. Соловьев и Петровский решили, что жена поэта и есть «земное отображение Прекрасной Дамы», та «Единственная, Одна и т. д.», которая оказалась среди новых мистиков, как естественное отображение Софии. На основании этой уверенности С. М. Соловьев полушутя, полусерьезно придумал их тесному дружескому кружку название «секты Блоковцев». Он рисовал всевозможные узоры комических пародий о будущих ученых XXII века, Lapan и Pampan, которые будут решать вопрос, существовала-ли секта «Блоковцев», истолковывать имя супруги поэта Любовь Дмитриевны при помощи терминов ранней мифологии и т. д.

Во всех этих шутках была, однако, серьезная подкладка, на что указывает и сообщение Андрея Белого: «В вечер по приезде из Шахматова мы собирались на новой квартире С. М. Соловьева и возжигали ладан перед изображением Мадонны, чтобы освятить символ наших зорь, освященный Шахматовскими днями».

Вслед за этим летом наступила памятная зима 1904-5 года. Период стихов «о Прекрасной Даме» закончился в 1905 году, и в этом году книга уже вышла в свет в московском издании «Грифа». События 1904-5 года ознаменовали собою перелом в жизни поэта. Он упоминает в своем автобиогра-

фическом очерке, причисляя их к тем явлениям и веяниям, которые особенно на него повлияли.

Фабричный район, где жили Кублицкие и Блоки, а также условия полковой жизни дали нам всем возможность видать то, что не могли знать многие в Петербурге. Задолго до 9-го января уже чувствовалась в воздухе тревога. Александр Александрович пришел в возбужденное состояние и зорко присматривался к тому, что происходило вокруг. Когда начались забастовки заводов и фабрик, по улицам подле казарм стали ходить выборные от рабочих. Из окон квартиры можно было наблюдать, как один из группы таких выборных махнет рукой, проходя мимо светящихся окон фабрики, и по одному мановению этой руки все огни фабричного корпуса мгновенно гаснут. Это зрелище произвело на Александра Александровича сильное впечатление. Они с матерью волновались, ждали событий.

В ночь на 9-ое января, в очень морозную ночь, когда полный месяц стоял на небе, денщик разбудил Франца Феликсовича, сказав, что, «командир полка требует г-д офицеров в собрание».

Когда Франц Феликсович ушел, Александра Андреевна оделась и вышла из дому. На улице, подле казарм, весь полк уже оказался в сборе, и она слышала, как заведующий хозяйством полковник крикнул старшему фельдшеру «Алексей Иванович, санитарные повозки взяли?»

Поняв, что готовится нечто серьезное, сестра вернулась домой, постучалась к сыну и в двух словах сообщила о случившемся. Он тотчас же встал. Сын и мать вышли на улицу. На набережной у Сампсониевского моста, у всех переходов через Неву стояли вызванные из окрестностей Петербурга кавалерийские посты. Тот отряд гренадер, где находился Франц Феликсович, занимал позицию возле часовни Спасителя. Тут же стояли уланы, которые спешились, разожгли костры и вокруг этих костров устроили танцы, вероятно, для согревания. Возле моста рабочий дружески уговаривал конного солдата сойти с поста, об'ясняя ему, что «все мы, что рабочий, что солдат — одинаковые люди». В ответ на увещания бедный солдат отмалчивался, но видимо томился. Празднично одетый рабочий вышел из квартиры и долго крестился на церковь, но переходы на ту сторону оказались в руках неприятеля, и видно было, как он тычется и тщетно ищет свободного прохода, мелькая издали нарядным розовым шарфом. От Петровского парка прокатился ружейный залп, за ним второй. Сестра зашла за мною. Мы еще долго ходили по улицам. Александр Александрович ушел несколько раньше. Вернувшись в свою квартиру, Александра Андреевна нашла у себя Андрея Белого. Не стану повторять того, что он рассказывает в своих воспоминаниях. Скажу только, что с этой зимы равнодушие Александра Александровича к окружающей жизни сменилось живым интересом ко всему происходящему.

Он следил за ходом революции, за настроением рабочих, но политика и партии по прежнему были ему чужды. Во всем этом он вполне сходился с матерью. Любовь Дмитриевна сначала относилась к событиям безразлично или даже враждебно, но понемногу и она зажглась настроением мужа. Франц Феликсович и тут, как и во всех случаях жизни, высказал себя верноподданным служакой. Это вносило разлад в семейную жизнь сестры, но она могла утешиться тем, что он высказывался всегда против кровавой расправы.

В эту зиму Александром Александровичем написано много лирических стихов, вошедших впоследствии в книгу «Нечаянная радость». Он печатался в «Новом Пути», переименованном в 1905 году в «Вопросы Жизни» при измененном составе редакции («идеалисты» Булгаков и Бердяев вместо четы Мережковских и Перцова). Секретарем редакции обоих журналов состоял Г. И. Чулков, с которым Александр Александрович успел сойтись за эти годы сотрудничества в «Новом Пути». Стихи Блока начали появляться в журнале с марта 1903 года. Тогда же начал он печатать там и рецензии—сначала несмело, подписываясь начальными буквами своего имени, затем увереннее за полной подписью. К последним принадлежат его рецензии на «Горные Вершины» Бальмонта, на «Прозрачность» Вяч. Иванова и на «Urbi et Orbi» Брюсова. С начала возникновения московского «Золотого Руна» (1906 год) Александр Александрович стал печатать там свои ре-

цензии и статьи. Все это войдет в полное собрание его сочинения, которое начало уже выходить в свет. Первые опыты этого рода незрелы и далеко несовершенны, но везде рассыпаны перлы глубочайших, чисто Блоковских, мыслей. Александр Александрович не раз собирался переработать свои юношеские статьи, находя невозможным печатать их в первоначальном виде. Он говорил об этом с матерью, отзываясь на ее настойчивые просьбы перепечатать статьи, и писал в 1915 году, в своем автобиографическом очерке: «Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, которые разбросаны в немалом количестве по разным изданиям, но нуждаются в сильной переработке...» Поэту так и не удалось заняться этой переработкой, а потому и статьи его появятся в неизмененном виде, так что можно будет проследить, как неясная, расплывчатая манера первых прозаических его опытов переработалась в четкий и весский стиль прозы последующих лет. Полемический задор, дающий себя знать иногда в юношеских работах, тоже сменился с годами выдержанной манерой, лишенной всякого личного налета.

В 1904 году Александр Александрович познакомился у Мережковских с издателем «Журнала для всех», Виктор. Сер. Миролюбовым, который сейчас же пригласил его к себе в сотрудники. Это было первое предложение такого рода со стороны в Петербурге. В двух весенних номерах журнала (апрель и май 1904 года) появились стихи Блока «Встала в

сияньи» и «Мне снились веселые думы». Интересно отметить, что за них Александр Александрович получил свой первый гонорар. В «Новом Пути» сотрудники печатались бесплатно, т. к. журнал был бедный, издавался исключительно по идейным соображениям и подписчиков было мало. Первый заработок был, конечно, событием в жизни поэта. Большая часть его пошла на покупку увесистого флакона любимых духов Любовь Дмитриевны.

В лето 1905 года в Шахматове второй раз гостил Андрей Белый. На этот раз они с'ехались с Сергеем Соловьевым. Тут произошел некий эпизод, рисующий характер настроений.

В один прекрасный вечер, Сережа ушел погулять и пропал на всю ночь. Так как он не знал наших мест, а по соседству с нами—большие леса, где легко заблудиться, все очень беспокоились и не спали всю ночь, гоняли лошадей, раз'искивали Сережу, скакали по разным направлениям и звали его на все голоса. Утром, на другой день Борис Николаевич ходил в Тараканово, разузнавал там и напал на его след. А часа в три Сергей Михайлович, как ни в чем не бывало, подкатил к Шахматову на Бобловских лошадях. Оказалось, что он нечаянно попал в Боблово, идя, как он выразился, «по мистической необходимости» и переходя от одной церкви к другой, пока не очутился у ограды бобловского парка. Тут залаяла собака, и он увидел девушку в розовом платье с охотничьей собакой. То была сестра Любы, Марья Дмитриевна, и с нею ее сетер Спот. Она

узнала Сережу, так как видела его на свадьбе. Он об'яснил, что заблудился, она повела его в дом, где он был прекрасно принят. Его оставили ночевать. С восторгом рассказав о своей встрече с «Дианой — охотницей», как он назвал Марью Дмитриевну, Сережа невозмутимо отнесся к нашему беспокойству. На все наши рассказы о том, как мы его искали, он ответил, что поступить иначе не мог «по мистическим причинам», даже в том случае, если бы все мы умерли. Сестра, которой не легко досталось это мистическое путешествие, рассердилась, наговорила Сереже резкостей. Он принял ее гнев спокойно и величаво, но за него обиделся Борис Николаевич, который поссорился с Александрой и даже, в тот же день, уехал. Надо прибавить, что все свое путешествие Сергей Михайлович изобразил тогда, как хождение Владимира Соловьева в пустыню. Через несколько дней он и сам уехал.

Следующая зима 1905-6 года прошла оживленно; 17-е октября и дни всеобщего ликования Ал. Ал. переживал сильно. Он участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя за одно с толпой. Но митинги посещал мало и только, как наблюдатель. Отношение к этому делу с полнотою выражено в его стихотворении **«Митинг»**:

И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.

Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел...
и т. д.

После женитьбы у Ал. Ал. завязались новые знакомства со студентами, прикосновенными к искусству, с литераторами. В 1905 году познакомился он с В. А. Пястевским (Пястом), с С. М. Городецким, с покойными теперь Леонидом Семеновым и Н. П. Ге. Все они были тогда студентами первых курсов. Устраивались сборища, на которых появлялись также молодые художники, братья Пяста и Городецкого, музыканты. Читали стихи, слушали игру на фортепиано, обсуждали события. Тут же, в столовой Кублицких, пили чай. Александра Андреевна хозяйничала. Об отношениях с В. А. Пястом, о возраставшей дружбе с Е. П. Ивановым можно прочесть в их воспоминаніях. Из молодых ближе всех прилепился к дому Городецкий. В то время он смотрел на Блока, как на метра и был польщен тем, что стихи его одобряются. Его веселость, юмор, непосредственная живость были приятны, придавали всему его облику легкость. Покойный Ник. Петр. Ге — искренний и чистый юноша, но тогда уже усталый и вялый. Его благородные порывы остались безплодными. В конце концов он как то приломился к Розанову, куда ходил вместе с Е. П. Ивановым. Леонид Семенов сразу стал заметен и как поэт, и как общественный деятель мистического склада. Он начал с монархизма. Сойдясь с Ге в уголку гостиной Кублицких, он серьезно

сговаривался с ним о том, как бы унести царя на руках, как бы его спрятать, когда начнется революция. После 9-го января его отношение резко изменилось. Он пошел в революцию, после скитаний и сидений по тюрьмам, нанялся батраком к крестьянину. В конце концов он крестьянами был убит. В манере Семенова было что то сухое и высокомерное, что действовало неприятно.

Все эти сборища и интимные вечера и обеды, когда приходил кто нибудь, один или два-три человека, были интересны и содержательны. Раза два приходил В. Э. Мейерхольд, друживший тогда с Чулковым. В 1906 году приезжал из Митавы молодой немецкий поэт Ганс Гюнтер, талантливый юноша. Он читал и свои стихи и переводы некоторых стихов Блока, в которых поразительно уловил ритм и дух поэта. Сколько мне известно, это лучший переводчик его стихов. Вместе с молодыми гостями, а иногда и в одиночку появлялся человек уже зрелого возраста, искатель новых путей в музыке и в философии, композитор Сем. Викт. Панченко. Его своеобразный и насмешливый ум и меткие афоризмы всех нас увлекали. Но лучшия чувства пребуждаются при его имени, когда вспоминаешь, как он любил Сашу. Он буквально не мог на него наглядеться; открытый детский взор, кудрявая голова поэта, все, что он говорил и делал, становилось предметом его неподдельного восхищения. Где он теперь? Жив ли еще этот ненасытный искатель, человек с большой волей, бессеребренник — скиталец?

За эти годы Любовь Дмитриевна, которая до замужества отличалась застенчивостью, тут, под влиянием всеобщей симпатии и интереса, развернулась и стала гораздо смелее.

В эту зиму появился на свет «Балаганчик». Пьесу эту написал Ал. Ал. по заказу Чулкова, который просил его дать нечто в драматической форме для альманаха «Факелы». Чулков даже посоветовал Блоку использовать собственное стихотворение «Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей»...

Ал. Ал. быстро исполнил заказ и отдал «Балаганчик» в «Факелы», где он и появился в ту же весну. Блок не смотрел на свой «Балаганчик», как на театральную пьесу и не думал, что она попадет на сцену и прошумит. В своем биографическом очерке, написанном десять лет спустя, он говорит, что в «Балаганчике» нашли себе выход те приступы отчаяния и сомнения, которые находили на него еще в пятнадцатилетнем возрасте. Андрей Белый и Пяст смотрели на это произведение, как на поворот в творчестве Блока и, как видно из их воспоминаний, оба были неприятно поражены, но впечатление у обоих было сильное.

Летом 1906 года был написан «Король на площади».

Весной 1906 года Ал. Ал. сдал свой государственный экзамен. В том же году, в апреле была написана знаменитая «Незнакомка».

По вечерам над ресторанами...

«Незнакомка» очень нравилась. Популярность Блока росла. Глумление «Нового Времени» и отрицательное отношение широкой публики — все это шло своим чередом, но число «любящих» росло. Тут оценил его и Брюсов, который сначала даже не признавал его поэтом.

В том же году окончила Бостужевские курсы Люб. Дм. У них с Ал. Ал. были и профессора общие и по части образования они шли в ногу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лето 1906 года прошло неспокойно: не ладили с семьей Софьи Андреевны, испортились отношения с Андреем Белым... Да и вообще, время настало тревожное. В воздухе носились разрушительные веяния революции. Ими прониклась вся новая литература. Бальмонт, Брюсов, Мережковские, Вяч. Иванов, Гамсун, Пшибышевский — все говорили одно и то же, призывая к протесту против спокойной, уравновешенной жизни, против семейного очага, призывая к отказу от счастья, к безбытности, к разрушению семьи, уюта. Все это охватило Ал. Ал. Идеология того времени особенно отчетливо прозвучала впоследствии в его «Песне Судьбы». Уход Германа от личного счастья, от тихой пристани — вот отголосок тех настроений: «Я понял, что мы одни на блаженном острове, отделенные от всего мира. Разве можно жить так одиноко и счастливо?..» и дальше:

«Господи! Так не могу больше. Мне слишком хорошо в моем белом доме. Дай мне силу проститься с ним, и увидеть, какова жизнь на свете»... И позднее в поэме «Возмездие». «Все разростающиеся события были для него только образом развертывающегося хаоса. Скоро волнение его нашло себе русло: он попал в общество людей, у которых не сходили с языка слова «революция», «мятеж», «анархия», «безумие». Здесь были красивые женщины «с вечно смятой розой на груди» — с приподнятой головой и полуоткрытыми губами. Вино лилось рекой. Каждый «безумствовал», каждый хотел разрушить семью, домашний очаг — свой вместе с чужим».

В таком настроении был поэт, когда он ушел из дома и из под крыла матери и вместе с женой переселился на отдельную квартиру. Это случилось осенью 1906 года. Квартира — «демократическая» найдена была на Лахтинской улице, в четвертом этаже. В трех небольших комнатах Блоки устроились уютно. Вещей у них было немного, средства были крайне скудные, но вся атмосфера их жилья дышала обычной милой своеобразностью. Целый ряд стихов II тома вызван впечатлениями этого «демократического» обихода: «На чердаке», «Окна во двор», Хожу, брежу понурый», «Я в четырех стенах», и т. д. В первую половину той же зимы написана и «Незнакомка», навеянная скитаниями по глухим углам Петербургской Стороны. Пивная из «Первого видения» помещалась на углу Геслеровского переулка и Зелениной улицы. Вся обстановка,

начиная с кораблей на обоях и кончая действующими лицами, взята с натуры: «Вылитый» Гауптман и Верлен, господин, перебирающий раков, девушка в платочке, продавец редкостей, все это лица, виденные поэтом во времена его посещений кабачка с кораблями. Пьеса написана до роковой встречи, ознаменовавшей этот памятный для поэта год. Вообще, будущим историкам литературы придется считаться с тем фактом, что даты стихов Блока часто опережают события, как его личной, так и мировой жизни. Это замечание относится также и к его статьям.

Зима на Лахтинской ознаменовалась постановкой «Балаганчика», сближение с актерской средой через театр Коммисаржевской и новым увлечением, повлиявшим на целый период жизни и творчества Блока. С начала сезона, под режисерством Мейерхольда, открылся на Офицерской театр Коммиссаржевской. Начались субботние сборища в клубе театра. Пригласили на них и Блока. В первый субботний вечер он прочитал там своего «Короля на площади». Бурный успех. На третьем сборище Брюсов читал свои стихи. «Король на площади» и ему понравился. Он просил его в «Весы». О том же просил «Гриф», и наконец «Золотое Руно», где и был напечатан впервые «Король на площади».

Актерская среда приняла Ал. Ал. с распростертыми об'ятиями. Любили его, как поэта и просто как обаятельного человека. Восхищало полное соответствие внешнего облика со стихами. Нравилась его милая, застенчивая и скромная манера, в ко-

торой было столько детского. В клубе театра познакомился он и с художниками Судейкиным и Сапуновым, часто встречался с Сологубом, Ремизовым и Кузьминым, которого видал и прежде на вечерах Вяч. Иванова. Завязалось знакомство с молодыми актрисами театра Коммиссаржевской, Волоховой, Вергиной, Мунт, Глебовой-Судейкиной. У Веры Ивановой, актрисы того же театра, устраивались вечера. Тут шумно и весело проводили время все те же актрисы, художники, писатели —Городецкий, Кузьмин, Ауслендер. Много было смеха, много вольных проказ, в которых Блоки не принимали личного участия, в общем они вели себя не в тоне того бесшабашного настроения, которым была проникнута окружающая среда.

Свои идеи о безбытности Мейрхольд воплощал тогда впервые. «Балаганчик», как нельзя более, подходил к его целям. И он горячо принялся за дело. Автор прочел пьесу актерам, сделал некоторые указания. Первое представление «Балаганчика» состоялось 30 декабря 1906 года. Мы с сестрой были и на генеральной репетиции. Тут народу собралось немного. Мы волновались, но Саша вел себя совсем, как ребенок. Был оживлен, всем доволен, весел, ни мало не сердился на плохую игру актеров и то и дело подбегал к матери: «Мама, тебе нравится?» Играли плохо, но талантливость постановки и какая то праздничность спектакля — сразу закупали. Много способствовала этому впечатлению и музыка Кузьмина.

На первом представлении театр был совершенно полон. Был тут весь цвет тогдашней интеллигенции — писатели, художники и т. д. Были и родственники. Им, как водится, очень не понравилось, как не нравилось все, что писал «Сашура».

«Балаганчик» шел вместе с Метерлинковским «Чудом Св. Антония».

Пьеро играл Мейерхольд.

Когда занавес упал и автор вышел на вызовы, раздалось громкое шиканье и пронзительный свист. (Свистал в ключ какой то студент). Но все это было покрыто аплодисментами. Сверху упала на сцену белая лилия и фиалки. Осип Дымов бросил свой портрет (?).

«Балаганчик» шел много раз, с переменным успехом. Это была лучшая постановка Мейерхольда. На последнем представлении этого сезона молодежь устроила автору овацию. Откопали политическую тенденцию: Коломбину приняли за долгожданную и неосуществившуюся конституцию...

Вокруг этой пьесы шли нескончаемые толки и ахи. Всех побеждала лирика, но смысл был безнадежно непонятен и темен. Постановка «Балаганчика» имела важные последствия. Близкое знакомство с актерской средой отмечено в автобиографии Ал. Ал. в числе важнейших моментов жизни. После первого представления, на «бумажном балу» у Веры Ивановой началось увлечение Нат. Ник. Волоховой. В эту снежную вьюжную зиму создалась «Снежная Маска». Как это произведение, так и все, что зна-

чится в цикле «Фаина» — составляет одну повесть. Стихи говорят за себя. Здесь отразился весь «безумный год», проведенный «у шлейфа черного».

Скажу одно: поэт не прикрасил свою «снежную деву». Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы, и глаза, именно «крылатые», черные, широко открытые «маки злых очей». И еще поразительна была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая то торжествующая победоносная улыбка. Кто то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: «раскольничья богородица». Но странно: все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла. Таинственный блеск угас — получилась так себе — хорошенькая брюнетка. Тогда уж нельзя было сказать про нее: «Вот явилась, заслонила всех нарядных, всех подруг».

«Снежная Маска» имела особый успех на вечерах Вячеслава Иванова, который поселился в Петербурге в 1906 году после долгого пребывания за границей. Он жил на Таврической улице, в верхнем этаже очень высокого дома. Его квартира была известна под названием «башни». Здесь происходили оживленные сборища писателей, художиков, музыкантов, артистов, всяких «ищущих» и «чающих». Все там перебывали; и очень было многолюдно. Высоко образованный, талантливый, вкрадчиво любезный хозяин авторитетно руководил направлением

башенных сборищ. Тут царила «богема», часто безвкусная в своей безшабашности. Но здесь же читались новые произведения, шли утонченные беседы, здесь Блок прочел свою «Снежную маску» в присутствии той, которой она была посвящена.

Выслушав рассказы о «башенных» нравах, мать поэта загрустила. Но к ней часто ходил в то время Евгений Иванов (Женя). «Вчера был на башне у Вячеслава», сообщает он предупредительно: «Саша серьезен». И сразу легче станет. Всеобщим нашим любимцем был этот добрый, умный, все понимающий, утешительный «Женя».

В ту же зиму на Лахтинской нарисован был Сомовым портрет Александра Александровича, заказанный художнику «Золотым Руном». Сеансы происходили у Блоков. Для увеселения часто заходил Кузьмин. Художник тщательно оберегал портрет от посторонних взглядов и показал его только тогда, когда он был вполне закончен. Прежде всего он пожелал узнать мнение матери. Она подошла, и сердце у нее упало: такое тяжелое впечатление произвел на нее портрет: сходство почти не передано, и ужасный этот рот, и дурные глаза. И откуда явились вместо золотистых шелковых кудрей эти тусклые шерстяные волосы?

«Мне не нравится»,—сказала мать.

— Вы совершенно правы, мне тоже не нравится, грустно вымолвил художник.

Да, все это так, но портрет воспроизведен в берлинском издании, и нельзя не грустить о том, что он дает превратное понятие о Блоке...

В конце января 1907 года скончался Дм. Ив. Менделеев. Его грандиозные похороны с несметной толпой народа и учащейся молодежи, несшей впереди процессии таблицу периодической системы, являлись событием сезона.

Дм. Ив. оставил детям некоторое наследство, разделенное поровну между двумя его сыновьями и тремя дочерьми (одна из них от первого брака).

Блоки нуждались в то время, и деньги явились очень кстати. С их помощью удалось впоследствии и за границу с'ездить.

Весной квартиру на Лахтинской сдали, вещи поставили в склад. Люба уехала в Шахматово, Саша поселился на время у матери, в гренадерском полку. Франц Феликсович ждал нового назначения, ему предстояло получить полк, которого он ожидал со дня на день. Лето выдалось жаркое. По вечерам, после обеда, Александр Александрович уходил из дома и направлялся в Озерки, в Сестрорецк, в окрестности Петербурга. В то время к нему часто присоединялся Чулков. Они проводили время в веселых беседах, за бутылкой вина. В это лето создались «Вольные Мысли», как известно, посвященные Чулкову. В Шахматове Люб. Дм. готови-

лась к сцене, — изучала роли, занималась пластикой и декламацией. Кроме меня, это лето проводила в Шахматове и Софья Андреевна с сыновьями. Ал. Ал. приезжал и уезжал опять. Александра Андреевна пожила недолго и снова уехала в Петербург,— делать покупки, готовиться к от'езду в Ревель, где был только что получен полк. Вскоре приехали и Блоки. Они приискивали новую квартиру и нашли ее на Галерной, вблизи Благовещенской площади. Квартира окнами во двор, с одним ходом, во втором этаже; Ал. Ал. привлекало место и близость к театру Коммиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы.

В середине сентября Ал. Андр. уехала в Ревель. От'езд из Петербурга был для нее тяжелым испытанием. Она в первый раз в жизни расставалась с сыном. Кроме того ее пугали обязанности командирши при полном отсутствии в ней тех свойств, которые необходимы для такой роли.

Квартира Блоков состояла из кухни и четырех непроходных комнат, вытянутых вдоль корридора. Средства позволили им, на этот раз, завести кое что новое по части обстановки. В артистическом мире славилась в то время некая Брайна Мильман, еврейка из Александровского рынка. У нее купила Люб. Дм. стулья красного дерева и книжный шкаф с бронзовым амуром, который обратил на себя ее внимание, именно потому, что

Там, к резной старинной дверце
Прицепился голый мальчик
На одном крыле...

Первые три комнатки были крошечные, четвертая, наиболее отдаленная от входа, просторная, в 2 окна. Тут поселился Ал. Ал.

Осенью 1907 года Ал. Ал. написал и послал в «Весы» те стихи, которые теперь вошли во второй том полного собрания в циклах: «Фаина» и «Заклятие огнем и мраком». В течении того же года вышла в петербургском издательстве «Оры»—«Снежная Маска»; в московском «Скорпионе»—«Нечаянная Радость». В этом же году проданы «Шпиновку» «Лирические Драмы», вышедшие, однако, только в 1908 году. Издания расходились быстро, известность Блока росла.

Первая зима на Галерной прошла довольно шумно. Постоянно приходили актрисы, весельчак Городецкий, с ним часто Ауслендер, Кузьмин. Хохотали, болтали. Ал. Ал. часто ходил в театр, часто видался с Волоховой. Люб. Дм. занималась голосом у артистки Мусиной, училась танцам у танцмейстера Преснякова.

Несколько раз приезжала из Ревеля Ал. Андр. Она жестоко тосковала по сыне и никак не могла свыкнуться со своим новым положением, тем более, что в Ревеле ее окружали мелкие сплетни и даже доносы. Ее считали революционеркой, и одно время ближайший начальник ее мужа, генерал Пыхачев,

потребовал ее немедленного удаления из города. Это дело замяли, но жандармские ад'ютанты на вечерах, любезно присаживаясь к ней, работали во всю, занимаясь грубейшей провокацией.

Между тем предчувствие желанной революции все настойчивее овладевало душой Блока. Несмотря на всегдашнее отвращение к политике, к партийности и ко всему подобному, ему стали близки по разрушительному духу некоторые политические деятели. В ту зиму завелся обычай собирать деньги на политические цели, т. е. главным образом на побеги. Как водится, наряду с подлинными деятелями, стали попадаться авантюристы и просто негодяи, которые, под видом политики, пользовались собранными деньгами по своему. Иногда удавалось их уличать. Ал. Ал., крайне доверчивый и неопытный, попадался. Но посещавший его «товарищ Андрей» и некая молодая революционерка Зверева оказались и подлинными, и достойными всякого уважения. Умная, убежденная девушка с сильной волей была эта Зверева.

Ал. Ал. приходилось часто выступать на вечерах, где под «благовидными предлогами», сборы шли все туда же. И потому, неизменно тяготясь, такими выступлениями, он не позволял себе от них отказываться, так как имя его уже и тогда собирало публику.

Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только ничего не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чудовищные сплетни были в то время в нравах литератур-

ного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходили действительность. Но они оба, во всю свою жизнь, умели игнорировать всяческие толки, и можно было только удивляться, в какой мере они оставались к ним равнодушны.

Зимой 1908 года написана «Песня Судьбы». Весной, в период гастролей Московского Художественного Театра, драма была прочитана «комитету», состоявшему из Станиславского, Немировича-Данченка и Бурджалова. Пьеса понравилась. Во время чтения В. И. Немирович-Данченко восклицал: «Боже, Боже, какой талантливый мальчик!» К. С. Станиславский оживился особенно после прочтения второго акта (Зал выставки). Тут же он стал намечать проекты насчет постановки и сделал несколько замечаний относительно подробностей. Дело считалось почти решенным: театр берет драму. Но окончательный ответ обещают прислать из Москвы. Осенью 1908 года пришла телеграмма, в которой значилось, что пьеса принята в репертуар Художественного театра. За телеграммой, через некоторое время, явилось от К. С. Станиславского письмо, длинное, дружеское, со множеством замечаний и окончательным решением не принимать пьесу к постановке. Тогда Саша написал матери в Ревель: «Стало бытъ так и надо. Я верю Станиславскому».

Потом он неоднократно принимался переделывать «Песню Судьбы», сокращал, выкидывал целые сцены. Появившись в одном из альманахов «Ши-

повника» в 1909 году, она прошла незамеченной. Об ней не писали.

(В 1919 году «Алконост» выпустили ее отдельным изданием, и Блок внес в рукопись большую часть того, что было им выкинуто).

Весной 1908 года, в театральном клубе, помещавшемся в доме Шово-де-ла-Сэр на Литейной, намечен был ряд лекций об искусстве.

В то время в клубе шла крупная игра в лото, к которой пристрастился одно время и Ал. Ал. В красивом белом зале клуба Блок прочел лекцию о театре. Лекция, состоявшаяся 18 марта 1908 года, привлекла полный зал. Тема ее — современный театр, «модный» вопрос о режиссере, характеристика современного актера, дух тоски: говоря о пропасти, разверзшейся между современным зрителем и сценой, Блок единственный выход из положения видел в будущем театре большого действия и сильных страстей. Закончил он несколькими словами о народном театре и о мелодраме.

Из всего ряда намеченных в то время лекций состоялась только эта, да еще лекция Эттингера об Ибсене. Бакст, Рукавишников — уклонились от чтения.

В том же 1908 году, Блок работал над переводом трагедии Грильпарцера «Праматерь» («Die Ahnfrau»). В ноябре того же года в петербургском издательстве «Пантеон» она была напечатана, а в 1909 году—в театре Коммиссаржевской—поставлена на сцену. Но об этом после.

С января 1908 года Мейерхольд оставил театр Коммиссаржевской. Место его, место режиссера занял брат Веры Федоровны. Мейерхольд собрал самостоятельную труппу из молодых артистов, в число которых вошла и Люб. Дм. Труппа эта вскоре уехала из Петербурга, направив путь по западным и южным городам России. В августе, по возвращении жены, Ал. Ал. приехал вместе с ней в Шахматово, где они прожили тогда до глубокой осени. Сестра Софья Андреевна занята была в то время покупкой собственного имения. Она собиралась поселиться там вместе с глухонемым сыном и заняться хозяйством. Мы с Алекс. Андр. должны были выплатить ей третью часть стоимости Шахматова. Это давало ей возможность совершить новую покупку, а нас с сестрой делало полными владелицами Шахматова.

Летом этого года Саша сделал кое-какие изменения в своей квартире: сломали перегородку между двух маленьких комнат и устроили просторную столовую. После отдыха в Шахматове Ал. Ал. чувствовал прилив новых сил. Первая половина этой зимы (1908-9 года) прошла бодро и оживленно, в непрерывной работе и общении с людьми разных кругов. Он деятельно посещал Религиозно-Философское Общество, в котором видную роль играли Мережковские, Розанов, Карташев, Столпнер. Часто видался с Мережковскими. В письме к матери от 26 октября он пишет между прочим: «Мережковский говорит много и красноречиво о самоотречении и о том, что надо полюбить что-то больше себя.

Знаю это прекрасно. Когда придет время, это случится и со мной, пока же я говорю со всеми тоже много и красноречиво, и волнуюсь, но все кругом темно и скудно».

В эту зиму читались перед публикой статьи и рефераты. Прочитав, Блок отсылал их для напечатания в газеты и журналы. В ноябре, в театре Коммиссаржевской он два раза прочел свой реферат об Ибсене.

Тогда только что начинал свое поприще Клюев. Он был в переписке с Ал. Ал-ем. Считаясь с Блоком, любя его, он писал ему по поводу «Вольных Мыслей» и упрекал его в «интеллигентской порнографии» и в чем то «более сложном», нарочито интеллигентском. От этого «более сложного» Ал. Ал. не захотел отказаться, считая, что это часть его самого, и по поводу клюевского письма писал матери так: «Веря ему, верю и себе. Следовательно (говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей) между «интеллигенцией» и «народом» есть «недоступная черта». Для нас, вероятно, самое ценное в них—враждебно, тоже—для них».

На почве таких мыслей и настроений создался наделавший столько шума доклад «Интеллигенция и народ». Впервые он был прочитан 13 ноября 1908 года, в Религиозно-Философском Обществе и при большом стечении публики. После заседания, на котором выступали еще Баронов и Розанов, Блока окружило человек пять сектантов. Звали к себе.

Доклад об «Интеллигенции и народе» возмутил Струве, который заявил Мережковскому, что отказывается печатать его в «Русской Мысли», где он должен был выйти. Мережковский, которому доклад был во многом близок, отстаивал его перед Струве, что послужило одним из поводов его разрыва с «Русской Мыслью».

12 декабря 1908 года состоялось второе чтение доклада в «Литературном Обществе». Здесь была публика нарочито интеллигентская. И опять таки очень многочисленная. С. А. Венгеров заявил добродушно, что это уж не доклад, а стихи. Зато Рейснер (профессор и ученик Сашиного отца, Ал. Льв. Блока) об'явил, что Ал. Ал. опозорил своим докладом имя глубокоуважаемого родителя. На что молодая социал-демократка с улыбкой возражала: «Зачем стрелять из пушек по воробьям? Это такие миленькие серенькие птички. Чирикают и никому не мешают». Заседание вышло знаменательное. О нем Ал. Ал. пишет матери: «Оживление было необычайное. Всего милее были мне: речь Короленко, огненная ругань Столпнера, защита Мережковского, и очаровательное отношение ко мне стариков из «Русского Богатства» (Н. Ф. Анненского, Г. К. Градовского, С. А. Венгерова и пр.). Они кормили меня конфетами, апплодировали и относились, как к любимому внуку, с какою то кристальной чистотой, доверием и любезностью. Зал был полный. Венгеров говорит, что на заседаниях Литературного Общества никогда не было такого напря-

жения. Я страшно волновался хорошим внутренним волнением, касавшимся темы, а не публики».

30 декабря, в Религиозно-Философском Обществе прочитан был доклад «Стихия и Культура».

Втечении зимы, и у себя на дому, и в других местах Блок читал «Песню Судьбы». Между прочим, с большим успехом прочел он ее на Высших Женских Курсах. Курсистки слушали внимательно, с напряжением.

В эту зиму Ал. Ал. водился с Мережковским, посещал Сологуба, Вяч. Иванова. Бывал у Розанова, с которым произошло несколько значительных разговоров, оставивших хорошее впечатление...

Дружба с Евг. Павл. Ивановым росла. Тут отношения были не только «по духу», но и «по душе». Хорошо познакомился тогда Ал. Ал. и с младшей сестрой Евг. Павл., Марьей Павловной. Эту замечательную девушку он особо почитал всю жизнь. Она и была, и осталась лучшим другом его матери по сю пору.

Провожая уходящий 1908 год, в письме к матери от 25 декабря, Саша пишет: «Уходящим полусезоном очень доволен. Усталости не чувствую. Напротив».

Но в конце концов напряженная работа, частые публичные выступления и бесконечные разговоры на важные темы утомили Блока. В феврале 1909 года уже чувствуется в его письмах к матери упадок настроения. Он жалуется на усталость, пишет, что все ему надоело, и кончает так: «Вообще, по-

думываю о том, чтобы прекратить всякие статьи, лекции и рефераты, чтобы не тратиться по пустякам, а воротиться к искусству».

В январе 1909 года, в театре Коммиссаржевской состоялась постановка «Праматери». Пожелав присутствовать на первом представлении, приехала из Ревеля мать поэта. Но пьеса успеха не имела. Играли из рук вон слабо, и ни интересная музыка Кузмина, ни великолепные декорации А. Н. Бенуа, не спасли положения. Особенно слаба была артистка, игравшая главную роль Берты. Феона, в роли Яромира, вызвал рукоплескания, и то больше потому, что монолог его революционен.

Еще в феврале месяце у Блоков зародилась мысль о весенней поездке заграницу, в Италию; купаться в море, жариться на солнце, окунуться в итальянское искусство—все это равно привлекало обоих. Они изучали Бедекера и составляли маршрут круговой поездки. Люб. Дм. имеет большую склонность к восприятию изобразительных искусств, особенно живописи. Оба с наслаждением думали об от'езде, готовились стряхнуть груз многообразных и тяжелых впечатлений русской действительности, забыть политиканство, дрязги, ссоры. . .

Письмо, написанное Сашей матери перед от'ездом, рисует настроение. Привожу отрывки:

Петербург 1 апреля 1909 г.

. . .Вечером я воротился совершенно потрясенный с «Трех Сестер». Это — угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся каким

то чудом не заплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины, которую завтра, слава тебе Господи, покину...

. . . .

Последний акт идет при истерических криках. Когда Тузенбах уходит на дуэль, наверху происходит истерика. Когда раздается выстрел, человек десять вскрикивают... от страшного напряжения... Когда Андрей и Чебутыкин плачут, — многие плачут, и я — почти.

. . . .

Чехова я принял всего в пантеон своей души и разделил его слезы, печаль и уничтожение...

Или надо совсем не жить в России, или изолироваться от уничтожения — политики, да и «общественности» (партийности)...»

Это последнее письмо к матери перед от'ездом в Италию. Следующее уже из Венеции:

7 мая n. st. 1909.

Венеция.

. . . .

Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно, как в своем городе, и почти все обычаи, галлереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно.

. . . .

Очень многие мои мысли об искусстве здесь раз'яснились и подтвердились, я очень много понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии за Беллини и Боккачио Боккачино, — окончательно отвергнув

Тициана, Тинторетто, Веронеза и им подобных (за исключением некоторых деталей)...

. . . .

Здесь хочется быть художником, а не писателем, я бы нарисовал много, если бы умел.

. . . .

Теперь я знаю, что все видимое простым глазом — не есть Россия; и даже если русские так и не научатся не смешивать искусства с политикой, не поднимать неприличных политических споров в частных домах, не интересоваться третьей думой, — то все-таки останется все та же Россия «в мечтах». . . . .

. . . .

Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины»...

Следующие письма уже из Флоренции:

Firenze, 13 maggio 1909.

. . . Сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны... В Равенне мы были два дня. Это — глухая провинция... Городишко спит крепко, и всюду церкви и образа первых веков христианства. Равенна сохранила лучше всех городов раннее искусство, переход от Рима к Византии... Мы видели могилу Данте...

... Древнейшая церковь, в которой при нас отрывали из под земли мозаичный пол IV—VI века. Сыро, пахнет, как в туннелях жел. дор., и всюду гробницы. Одну я отыскал под алтарем, в темном каменном подземельи, где вода стоит на полу. Свет

из маленького окошка падает на нее; на ней нежно-лиловые каменные доски и нежно зеленная плесень. И страшная тишина кругом. Удивительные латинские надписи... Флоренция — совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают»...

Следующее письмо из Флоренции от 25-го мая:

... Здесь уже нестерпимо жарко, и москиты кусают беспощадно. Флоренцию я проклинаю за то, что она сама себя продала европейской гнили, стала трескучим городом, и изуродовала почти все свои дома и улицы. Остаются только несколько дворцов, церквей и музеев, да некоторые далекие окрестности, да Боболи, — остальной прах я отрясаю от своих ног. . . . .

Так же, как в Венеции—Беллини, здесь—фра Беато стоит на первом месте, не по силе — а по свежести и молодости искусства. Рафаеля я полюбил, Леонардо очень, Микель-Анджело — только несколько рисунков». . . . . . .

Следующее коротенькое письмо из Перуджии. Здесь только несколько слов о том, что ходили по горам и видели этрусскую могилу.

Потом — открытка из Сиенны: «Сиенна уж одиннадцатый наш город. Воображение устало».

Между Перуджией и Сиенной — были еще Ассизи, Сполетто, Монте-Фалько, Орвьетто, Кьюзи. Потом поехали в Пизу, и, наконец, длинное письмо из Милана.

Считая Сиенну одиннадцатым городом, Ал. Ал. вспомнил и маленький Фолиньо, местечко, отмеченное в его путешествии тем, что он написал там одно из стихотворений третьего тома:

Искусство — ноша на плечах.

Из Милана поэт извещает свою мать о том, что в Рим уж не поехали — жарко, устали, «надо ехать туда зимой». А из Милана поедут во Франкфурт и оттуда в смежный с ним Наугейм, после чего по Рейну до Кельна. И оттуда в Берлин, и домой.

Из Милана пишет он, между прочим, так: «Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той постепенности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели — чуть не все итальянские города, два моря, десятки музеев, сотни церквей. Всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполетто. Леонардо, и все, что вокруг него (а он оставил вокруг себя необозримое поле разных степеней гениальности — далеко до своего рождения и после своей смерти) меня тревожит, мучает и погружает в сумрак, в «родимый хаос». Настолько же утешает меня и ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много. Перед Рафаэлем я коленнопреклоненно скучаю, как в полдень — перед красивым видом. Очень близко мне все древнее — особенно могилы этрусков, их сырость, тишина, мрак, простые узоры

на гробницах, короткие надписи. Всегда и всюду мне близок, как родной, искалеченный итальянцами латинский язык.

Более, чем когда либо, я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уж ничего нельзя — не переделает никакая революция»...

Следующее письмо из Наугейма, от 25 июня:

... Здесь необыкновенно хорошо, тихо и отдохновительно. Меня поразила красота и родственность Германии, ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все проникнуто. Теперь совершенно ясно, что половина усталости и апатии происходила от того, что в Италии нельзя жить. Это самая нелирическая страна — жизни нет, есть только искусство и древность. И потому, выйдя из церкви и музея, чувствуешь себя среди какого то нелепого варварства. . . . .

Родина Готики — только Германия, страна наиболее близкая России, — вечный упрек ей. О, если-бы немцы взяли Россию под свою опеку! От этого только стало бы легче дышать, и не было бы больше позорной жизни. Здесь только есть настоящая религия жизни — готическая жизнь. . . .

Кроме всего этого, я нежно полюбил Наугейм. Он почти тот же, так же таинственно белеют и дымят шпрудели по вечерам. . . . . .

... Парк, Teich, леса, деревни и Фридберг с дворцом и садом — все те же. На днях я поеду во

Франкфурт за твоим письмом. Отсюда мы только поднимемся по Рейну до Кельна и, осмотрев его, уедем прямо в Петербург».

В следующем письме из Наугейма, от 27 июня, он пишет уже о том, что «нам обоим очень хочется в Шахматово».

Потом — коротенькое письмо из Петербурга: «Приедем 30-го (это уже старый стиль, стало быть — июнь) рано утром». Просят выслать на станцию лошадей.

«Плаванье по Рейну и Кельн великолепны, как и вся Германия. А, в'ехав в Россию, я опять понял, что она такое, увидав утром на пашне трусящего под дождем на худой лошадке одинокого стражника».

Пока наши дети путешествовали по Италии, мы с Алекс. Андр. старались наладить шахматовское хозяйство, которое, по обыкновению, шло не важно. Наша непрактичность, бесконечная доверчивость и неуменье обращаться с людьми, портили дело. После смерти родителей, по совету Анны Ивановны Менделеевой, мы взяли приказчика латыша с женой и взрослой дочерью. Сначала все пошло прекрасно: — латыши много и хорошо работали, все наладили, и Шахматово стало окупать свои издержки, тогда как до сих пор оно вводило только в расходы. Но латыш оказался деспотом, был непомерно груб и скоро стал поворовывать — вообще человек на редкость неприятный. Хотелось его сменить. В конце концов, после крупной истории, ему отказали, латышская семья уехала из Шахматова, а мы решили

отказаться от хозяйства и взяли русского арендатора, который, прожив у нас год, испортил и распродал наш скот, окончательно расстроил хозяйство и оказался несостоятельным во всех отношениях.

Когда, в конце июня, Блоки вернулись из за границы, арендатору радовались: можно не хозяйничать, вышли из под гнета латыша; но оказалось хуже.

Дети вернулись веселые, довольные. Жизнь пошла своим чередом. Сестра София Андреевна нашла себе хорошее имение в 20 верстах от Шахматова. Но здоровье Ал. Андр. было плохо, расстроил ее Ревель, и она не оправилась и летом. Нервы пришли в такое состояние, что зимой был приглашон специалист доктор, который стал настаивать на санатории.

После заграничной поездки и шахматовского лета Блоки чувствовали себя освеженными и окрепшими. Цикл итальянских стихов, написанных частью еще в Италии, чрезвычайно нравился всем, причастным к литературе. Цикл этот напечатан впервые в только что возникшем тогда «Аполлоне» («Весы» и «Золотое Руно» прекратили свое существование). За итальянские стихи Блок «удостоился» избрания в совет «Общества Ревнителей Художественного Слова», существовавший при «Аполлоне», где числились уже Брюсов, Кузмин, Вяч. Иванов, Иннокентий Анненский... Совет собирался по понедельникам и называл себя «Академией». Здесь читались доклады, разбирались стихи. Иногда случалось Александру Александровичу и председательствовать. А 8-го апреля 1910 года в этой Академии он прочел свой

доклад «О символизме», вещь, которой он впоследствии придавал всегда серьезное значение, так как здесь, сколь возможно, было выставлено его credo. После доклада, Вяч. Иванов демонстративно обнял и расцеловал поэта, а от Андрея Белого, из Москвы, получил Блок письмо, в котором Борис Николаевич отметал возникавшие в то время недоразумения и, присоединяясь к высказанному credo, с'изнова братался с поэтом.

Итальянское путешествие оставило след в жизни Блока: он стал живее и любовнее относиться к живописи, которая до тех пор не играла роли в его переживаниях. Кроме того воспринял он итальянскую старину: «Италия XV века стала для меня привычной областью жизни», пишет он матери в Ревель. «Пишу итальянские фельетоны» прибавляет он дальше. Из этих фельетонов или, вернее, статей напечатаны только: маленькая статейка «Маски» — в журнале «Маски», да «Монте-Лукка» — уже в «Записках Мечтателей» в 1920 году. Остальные выйдут в полном собрании сочинений.

С людьми Ал. Ал. продолжает водиться настойчиво и в этот сезон 1909—10 года. Бывал у Мережковских, в Религиозно-философском Обществе. С Мережковскими происходили вечные споры. Их догматизм, тенденциозность, мертвенность вызывали в нем протест и досаду.

С матерью переписывался он очень деятельно, как во все годы ее пребывания в Ревеле. Он сообщал ей вкратце обо всем, что делал, о встречах,

настроениях. Время от времени посылал ей новые стихи. Средства его в ту зиму были не блестящи. Приходилось писать, ради денег, даже в газетах. Но, когда из Одессы получились приглашения прочесть несколько лекций, несмотря на выгодные условия этого предложения, Ал. Ал. все-таки от него отказался. Не хотелось ему выступать публично, несмотря на частые зовы. Лишь в исключительных случаях, каким явился в тот год пятидесятилетний юбилей Литературного Фонда, он не считал возможным отказываться.

18 ноября 1909 года поэт получил первое известие об опасной болезни отца. Весть пришла из Варшавы от ученика Ал. Льв. Спекторского. Ал. Ал. тотчас отправился к жене своего отца, Марье Тимофеевне, жившей с дочкой Ангелиной в Петербурге. Ангелину видел он перед тем всего один раз, когда ей было десять лет. Теперь это была шестнадцатилетная девушка, только что окончившая курс гимназии. Марья Тимофеевна сообщила сыну, что отец безнадежен: чахотка, болезнь сердца. Ал. Ал. медлил от'ездом... Но пришло еще одно известие: отец при смерти, и 30 ноября поэт уехал в Варшаву. Прибыв туда 1-го декабря вечером, сын уже не застал отца в живых — он опоздал всего на несколько часов. Подробности похорон и последующих впечатлений с точностью описаны в поэме «Возмездие». В Варшаве, за разборкой вещей и книг, за выяснением подробностей о наследстве, пришлось пробыть не одну неделю. Здесь он видался и с военными род-

ственниками своей сестры, и с профессорами, познакомился ближе и с Спекторским, чрезвычайно преданным учеником своего отца...

«Да, сын любил тогда отца»... Сказано в «Возмездии»...

И, действительно, после всех тяжких впечатлений, которые оставались от посещений отца в Петербурге, Ал. Ал. оценил то, что было в нем глубокого и крупного, после его смерти. О том, как он видел в последний раз отца (на Пасхе 1909 года), он писал матери: «На Пасхе Ал. Льв. понравился нам с Любой совершенно особенно, потому что в нем уже была смерть, и он понимал многое, чего живые не понимают». Но, прошло время, и в письме от 18-го января 1910 года он писал из Петербурга: «Отцовский мрак еще находится на земле и вокруг меня увивается. Этого человека надо замаливать».

В Варшаве сошелся он с сестрою, которая очень ему понравилась: «Сестра интересная, оригинальная и чистая. У нас много общих черт, например «ирония», но в чем то очень существенном — коренная разница, кажется в том, что она не мятежная».

19 декабря Саша вернулся в Петербург. Ему очень хотелось к матери. Он горел желанием поделиться с ней варшавскими впечатлениями, сообщить ей новые проекты и планы. Наследство, полученное после отца, он с сестрою поделил поровну, каждый получил около 40 тысяч рублей, что давало возможность жить независимо и устроить шахматовские дела.

В конце декабря он приехал к матери. За ним — и Люб. Дм. Новый, 1910 год встречали в Ревеле, вместе.

Саша приехал бодрый, но его беспокоило нездоровье матери, хотя он сильно надеялся на санаторию, так как не мог себе представить, как глубоко засела в ней ее нервная болезнь, которая уже не поддавалась лечению. Тяжелое нервное состояние притупляло в ней даже радость свидания с сыном.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вернувшись в Петербург, он продолжает вести все ту же беспокойную жизнь. Но его заботит болезнь матери; он часто пишет ей, уговаривает ее бросить Ревель и переселиться в Петербург, а потом посоветоваться с кем-нибудь из петербургских докторов и уехать в санаторию.

Весь январь он наводит справки о санаториях, приискивает подходящего доктора. Он зовет мать к себе и для удобства совместной жизни присоединяет к своей квартире еще две комнаты из соседней квартиры. Матери предоставляет просторное помещение в два окна. За перестановку вещей он, по обыкновению, принимается с жаром и все время доволен тем, что выходит по новому, и притом гораздо удобнее, просторнее и красивее прежнего. В одном из писем к матери он горячо уговаривает ее отказаться от визитов и других светских обязанностей. Письмо его на эту тему очень характерно:

«За то, что ты делаешь визиты и Францик тебе это позволяет, я прямо сердит на вас обоих. Всякому человеку надо быть, хотя бы до минимума таким, как он есть; существует черта, которой не преодолеть. Так и для нас с тобою (обоих совершенно одинаково) — отношения к «обыкновенным» посторонним «ближним». — Я знаю твердо, что если я начну исполнять обязанности вроде твоих (хотя бы по отношению к родственникам Марьи Тимофеевны Блок, или к своим), то я долго не выдержу. Потому я поневоле (по обязанности перед самим собою) должен экономить себя — и ни за что не отдам ни одной части своей души (или досуга, или времени) таким посторонним людям. В противном случае — я могу сойти сума без всяких преувеличений... Ни о карьере, ни о спасении приличий не может быть и речи при условии твоих припадков».

Здесь Саша говорит о тех припадках эпилептического характера, которым подвержена его мать. Доктора называют их «эпилептоидами». Они связаны с болезнью сердца и начинаются с момента неописуемого блаженства или страдания, за тем краткого беспамятства. Они сопровождаются известной степенью духовного просветления и очень тяжелы по своим последствиям: потеря памяти, растерянное и удрученное состояние; обычные явления жизни получают характер чего то дикого и страшного.

Саша торопит мать скорее бросить Ревель, скорее переезжать в Петербург. Между прочим он пишет: «Прямо в санаторию ехать не следует уж потому, что тебе нужно выговориться со мной...» Экономить на это ни в каком случае нельзя, вообще надо отнестись к этому очень серьезно, а деньги (хотя бы часть) взять у меня, это будет для меня первая настоящая реальная и приятная трата (кроме Шахматова)».

Среди всех этих дел и забот возникает новый животрепещущий интерес. Почти в каждом письме к матери говорится о комете Галлея и о другой, которая должна появиться в январе 1910 года:

«Известно-ли тебе, что кроме кометы Галлея (безопасной, вроде NN) идет другая неизвестная — настоящая незнакомка? Хвост ее, состоящий из синерода (отсюда — синий взор) может отравить нашу атмосферу, и все мы, помирившись перед смертью, сладко заснем от горького запаха миндаля в тихую ночь, глядя на красивую комету?...» «Я очень оживлен, — пишет он в следующем письме, — комета, разумеется, главная причина».

Но обе кометы оказались безопасными: «О кометах я как то перестал думать или думаю редко».

Мать приехала к Саше в Петербург в начале февраля, а в марте муж увез ее в санаторию доктора Соловьева, в Сокольники, подле Москвы.

Саша продолжает писать матери также часто и в санаторию, где она пробыла тогда пять месяцев. Лето выдалось жаркое, условия санатории—хорошие.

В начале апреля Саша пишет матери о смерти Врубеля, описывает его похороны, на которые собрались все художники, но речь произносил только он. Эту речь, тщательно ее переписав, он тут же в письме и шлет матери . Впоследствии он сильно ее переделал. Напечатана она была в Киевском художественном журнале под редакцией Яремича. Этот 1910 год журнала весь посвящен Врубелю.

В эту весну Ал. Ал. приходилось часто говорить публично, приходилось выступать печатно: «Я терзаюсь статьями» — пишет он матери, — «хочу быть художником, а не мистическим разговорщиком и фельетонистом». Его тянет в Шахматово — отдохнуть от разговоров, сутулоки и статей, втягивающих его в чужую ему сферу публицистики и отвлекающих от творчества. Настроение у него мрачное; угнетает его болезнь матери, которой сначала в санатории было тяжело, и это отражалось на ее письмах к сыну.

Но среди всего этого он не пропускает ни одного спектакля серии «Кольца Нибелунгов». В эту весну средства позволили ему абонироваться, и он с жадностью слушает и воспринимает музыку Вагнера, с'игравшую роль в его внутренней жизни, повлиявшую на его творчество. Еще в пред'идущем 1909 году, прослушав генеральную репетицию «Тристана и Изольды», поэт писал матери: «Музыка — вещь самая влиятельная... Ее влияние не проходит даром...»

В эту весну поддерживается сношение с Вяч. Ивановым. У него на дому устраиваются спектакли, ставят пьесу Кальдерона. Видятся Блоки и с Мережковскими, разногласия между ними продолжаются, но с Зин. Ник. Александру Александровичу как то легче: «Просто — она живее» — об'ясняет он. Видятся с молодым писателем Ал. Толстым; появляется на горизонте Скалдин: «Скалдин — совершенно новый и очень интересный человек», — пишет Блок матери.

Часто приходит к нему сестра Ангелина с матерью. Ангелина глубоко религиозна, в жизни ее огромное место занимает церковь, но она тоже «ищущая» и под влиянием брата начинает посещать Религиозно-философские собрания. Мать Ангелины сразу приходит в ужас от «вольности» такого направления. Посещения «Общества» приходится оставить. Ангелина тоже пишет стихи, «очень интересные, но неталантливые», по выражению брата.

В конце пасхальной недели, на Коломяжском ипподроме начались полеты авиаторов. Весна выдалась исключительно ранняя и теплая. Погода блистательная. Блоки, оба увлеклись полетами. Раза четыре ходили они смотреть авиаторов: «В полетах людей, даже неудачных, есть что то древнее и сужденное человечеству, следовательно высокое», — пишет он матери; описывая неудачи Латама с Антуанеттой, он прибавляет: «Все это, однако, было очень замечательно: миллионная толпа, весенний день и изящнейшая Антуанетта».

Но главным интересом этой весны, помимо всего, являлись планы перестройки шахматовского дома.

Выплатив тетке С. А. Кублицкой, ее третью часть из полученных по наследству денег, Ал. Ал. обдумал план радикальной перестройки. Флигель, в котором они с женою жили первые годы, пришел в совершенную ветхость. И он решает водвориться в доме. Заводится переписка с плотником, живущим по соседству с Бобловым: прежде всего нужно заготовить лес, собрать артель рабочих. Один из денщиков Франца Феликсовича едет в Шахматово присмотреть за началом работ, а в апреле, на Фоминой неделе отправляются туда и Саша с Любой.

В одном из первых писем к матери из Шахматова, сын старается ободрить ее: «Мама, я вчера получил твое письмо и весь день печалился... Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил, утром ведь утро, а вечером — вечер, и я тоже буду об этом стараться изо всех сил в Шахматове первое время, чтобы потом увидеть мир».

Следующие письма полны подробностями перестройки, хозяйства. Пришлось выпроваживать арендатора, нанимать нового работника. За хозяйство взялась Люб. Дм. Тут и яровые сеяли, и коров покупали, и лошадей, все, разумеется, из тех же денег. Для ремонта пришлось собрать целую артель: кроме плотников явились тверские печники и владимирские маляры. Всего тридцать человек. Дом решено было ремонтировать и внутри, и сна-

ружи: перестилали полы, чинился фундамент, ставились новые печи, дом красили снаружи, переклеивали внутри, крыша из красной стала зеленой, как была при первоначальной покупке Шахматова. Окна, двери, все было перекрашено заново. Балкон сломали. На его месте сделали прехорошенький новый. И наконец — пристройка. Над просторной комнатой старой боковой пристройки воздвигли такую же в виде второго этажа. Все это покрыли новой крышей, а из верхней комнаты, предназначавшейся для самого хозяина, образовался переход в мезонин, где Ал. Ал. устроил библиотеку. Все свободные от окон стены покрыли деревяными полками, куда снесены были все книги из старого дома. В промежутках развесили портрет Леонардо-да-Винчи, Толстого, Пушкина, Достоевского, большую фотографию Джиоконды, привезенную из Парижа, Врубелевскую Царевну-Лебедь. Посреди комнаты — большой стол и мягкие стулья. Сюда привозились груды книг из Петербурга, и все это безвозвратно погибло во время революции.

Из верхней, новой комнаты пристройки, где поселился Ал. Ал., открывался далекий вид. Нижние стекла окон вставлены были красные. Комната вышла светлая, просторная. Внизу, у Люб. Дм. было потемнее. Широкое итальянское окно ее комнаты выходило в сад, на большущий куст ярких прованских роз, которые в полном цвету и на солнце, как огонь горели.

Приехав в Шахматово и начав перестройку Ал. Ал. написал матери: «У нас все очень интересно и масса событий». Тут начинаются подробности относительно водворения нового работника Николая, жены его Арины, их детей. Сообщается о покупке новой тележки и бочки для воды, о том, что похудевший за зиму заслуженный «Серый» — «от'елся. И собаки потолстели. «И «Серый» даже очень силен. Он возит из долины камни для фундамента». Ал. Ал. с любовью обдумывает каждую мелочь, и кипящая вокруг него работа не утомляет его, а только поднимает его дух: «Нас в усадьбе с рабочими масса, и весело». И в другом письме: «Приехав, ты увидишь крышу зеленую, балкон белый, печи израсцовые и нашу пристройку-двухэтажную».

Усталость от книжности, интеллигентности и жадность к сношениям с рабочими сказывается во всем. Он ведет с ними разговоры: «Все разные, каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента. Я разговариваю с ними очень много. Одно их губит — вино, вещь понятная. Печник говорит о «печной душе», младший печник—лирик, очень хорошо поет. Один из маляров — вылитый Филиппо Липпи — и лицом, и головным убором, и интересами: говорит все больше о кулачных боях. Тверские каменщики — созерцатели природы».

Так проходит весь май. В июне уже заметно утомление. Между прочим — жара и засуха. Но главное, конечно, — сложность и ответственность дела. С одной стороны, он торопит рабочих, желая

скорее перевести мать. С другой стороны, — начинаются неожиданные препятствия: дрязги, оттяжки, выпрашивания на чай и пропадание в казенке, ссоры с подрядчиком, который, как водится, плохо кормит. Приходится разбирать недоразумения, подбадривать рабочих. Дело затягивается. Рассчитывали кончить к Петрову дню, к концу июня. И то скоро. Можно перевозить мать. Саша очень беспокоился, как понравится ей перестройка, некоторые новые затеи. В конце концов, возня с рабочими совсем его замучила: «Мне строительство до смерти надоело, — пишет он матери в конце июня, и я всеми силами стараюсь кончить его». И в следующем письме: «Домостроительство весьма тяжелый кошмар, однако, результаты способны загладить все перепетии ухаживания за тридцатью взрослыми детьми».

Во время стройки я жила у сестры Софьи Андреевны, в ее новом Сафонове. Приехав на сутки в Шахматово, я была поражена Сашиным видом: вместо обычной поправки он похудал, глаза у него были красные, вид озабоченный.

Наконец, к Казанской покончили со всеми плотничьими и печными делами. В Шахматове остались одни маляры, которые кончали наружную окраску. Обновленный дом сиял свежестью, весь серый с белым и с зеленой крышей, но старинная уютность его не была нарушена, все переделки были выдержаны в его старом стиле.

Я приехала за несколько дней до сестры. При мне дети кончали уборку материнской комнаты, и

в столовой Саша вешал большую, светлую лампу, купленную и привезенную из Петербурга.

Наконец, Люба с'ездила в Москву и привезла Алекс. Андр. из санатории. Она плохо поправилась, все воспринимала довольно тупо, но через несколько дней, попривыкнув к новому, стала радоваться тому, что опять видит сына. Он надеялся на санаторию, рассчитывал увидеть большую перемену в здоровьи матери, но был разочарован...

Все пошло своим чередом. Люба хозяйничала, а Саша тут же задумал строить новое помещение для работника. Сестра Софья Андреевна, я, Анна Ивановна Менделеева, приехавшая погостить тетя Соня — все восхищались обновленным Шахматовым, изобретательностью и вкусом хозяина. Блоки решили остаться тут на всю зиму.

Пока в усадьбе работали маляры, было оживленно, пелись песни по вечерам. Особенно утешал нас своими пением маляр Ванюшка, тот, которого сравнивали с Филиппо Липпи. Но ушли рабочие, и стало тихо. Усадьбу вычистили. Занялись убранством дома. Все мы полюбили библиотеку. Она вышла уютная и милая. И вид оттуда открывался дальний. Прежде это была комната покойной сестры, Екатерины Андреевны Красновой, и в память об этом на полку выставили ее портрет.

В свою комнату Саша привез старинный дедовский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. Тут были секретные ящики, где сохранял он письма своей жены, ее пор-

треты, некоторые рукописи и, между прочим, девический дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь безвозвратно. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, а от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное — догадаться трудно.

В эту осень мы с сестрой уехали из Шахматова поздно, в половине октября. Дети остались вдвоем. Саша тотчас же нанял колодезника — рыть новый колодезь. Водяной вопрос всегда был слабым местом в Шахматове. Не раз и отец пробовал рыть колодцы, рыли в разных местах и на большую глубину и, истратив изрядную сумму денег, бросали это дело, потеряв надежду на воду. В Шахматове был колодезь, но ездить с бочкой приходилось под гору, далеко от усадьбы. Саша решил попробовать еще раз. Но и тут повторилась та же история. И в конце концов пришлось упорядочить старый водоем — почистить и обить новым ящиком ключ, бежавший из соседней горы.



Ал. Ал. подробно пишет матери о погоде, о работах, о житье в обновленном доме.

От 18 октября: «Мама, у нас метель. В лесу уже много снегу. Мы переселились совсем в пристройку, обедаем в маленькой комнате (такая была внизу, рядом с комнатой Люб. Дм.). Очень тепло. Как только вы уехали, старый дом стал огромным и пустым».

От 22-го октября: «У нас был два дня сильный ветер, дом дрожал. Сегодня ночью дошел почти до урагана, потом налетела метель, и к утру мы уже ходили по тихому глубокому снегу. Сейчас к вечеру уже оттепель. Мы слепили у пруда болвана из снега, он стоит на коленях и молится... Однако, прожить здесь зиму нельзя... Мертвая тоска».

«Колодезная авантюра мало вносит интереса... Вообще тоскливо и страшно пусто. Октябрь другого характера, чем петербургский — светлее, но петербургский я предпочитаю — на чистоту черно-желтый.»

В одном из писем Ал. Ал. сообщает матери, что сильно занят составлением сборника стихов для издательства «Мусагет». Он готовил «Ночные часы». Сообщает о том, что много читает, близок ему Ницше.

Планы о зимнем житье в Шахматове брошены.

Получив из Москвы телеграмму такого содержания: «Мусагет, Альциона, Логос*) приветствуют, любят, ждут Блока», Ал. Ал. подумывает о том, чтобы перед от'ездом в Петербург, заехать в Москву. 31-го октября он пишет: «Мама, я опустил это письмо к тебе и уезжаю в Москву, а Люба — в Петербург завтра. Читала-ли ты прилагаемое известие о Толстом**)?... Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском, в Религиозно-философском обществе,

*) „Мусагет", „Альциона" — издательства; „Логос" — философский журнал.

**) Дело идет об уходе Л. Н. Толстого.

в Москве». 5-го ноября он пишет уже из Петербурга: «Мы сегодня нашли квартиру — хорошую: Петербургская сторона, Малая Монетная 9, 6-ой этаж (мансардовый), 4 комнаты, ванна, помещение для прислуги». Комнаты в этой квартире были маленькие и невысокие, из Сашиной комнаты — балкон. Светло, а из окон — далекий вид на Каменноостровский проспект, на сад Лицея. Большой особняк князя Горчакова — тут же напротив. При нем сад. И по саду снует необыкновенно симпатичный породистый пес, которого Саша наблюдает с любовью. — В столовой водрузили еще одно блоковское наследие — огромный диван с ящиками. Комнаты устроили по обыкновению целесообразно и со вкусом. Саше очень нравилась эта квартира. Он назвал ее «молодой» в письме к матери. И понятно: помещалась она на вышке, не было на ней ни следа оседлости или быта.

Этой зимой 1910—11 года, собрав окончательно «Ночные часы», Ал. Ал. послал их в «Мусагет» для напечатания. В сезон 1911—12 года вышли в «Мусагете» вторым изданием и три тома: «Стихи о Прекрасной Даме», «Нечаянная радость», «Снежная ночь».

Уход Толстого волновал и радовал Ал. Ал. По поводу этого события и всех его последствий он даже читал газеты, что вообще не входило в обиход его жизни, и случалось лишь периодически. Газеты читались разные.

«Ты говоришь «оскорбительно» — пишет он матери в Ревель: — конечно, все известия и мнения оскорбительны, но я не знаю, кто более — правые или левые. Пожалуй, левые. Они лежат на животе и пищат. «Новое Время» холодно и малословно, а это для меня всего важнее. Относительно семьи тоже с тобой не совсем согласен. Иначе говоря, эта пошлость не так вредна, как другие некоторые (например, Милюков и Родичев, едущие на автомобиле на похороны). Кроме того, никто из семьи не соврал, что у Толстого было намерение раскаяться. Все таки, это много»...

Эта зима 1910—11 года снова проходит на людях. Ал. Ал. часто и охотно встречается с Вяч. Ивановым. Видится с профессором Аничковым и его семьей. Блоки вдвоем бывают у него в доме, где царит гостеприимство. Сам Евг. Вас. Аничков — ученый профессор западнического склада, отличается веселым и добродушным нравом. Александра Александровича он любил. У него вообще бывали писатели: Сологуб, Чулков, Верховский, Ремизов, Княжнин, Пяст. Аничков вел знакомство со всеми литераторами Петербурга.

Издатель «Старых годов», барон Дризен устраивал у себя вечера, которые тоже посещались Блоком.

Видался он и с сестрой Ангелиной, и со всеми понемногу. С Городецким устраиваются катанья на лыжах. Для этого отправляются в Лесной.

Зато с Мережковскими произошел временный, но острый разрыв. Еще летом 1910 года Мережковский написал фельетон, рассердивший Блока, которого он осыпал едкими либеральными упреками, касавшимися и вообще символистов. Обвинения были направлены по обыкновению в сторону недостатка общественности. По тону и по характеру нападений фельетон был так неприятен, что Ал. Ал. рассердился не на шутку, даже против обыкновения, и написал Мережковскому, накануне его от'езда в Париж, резкое письмо.

В конце ноября он пишет матери: «Я вообще чувствую себя уравновешенным, но сегодня изнервлен этими отписками Мережковскому. Это просто противно. Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие его по наследству с Запада (Мережковский и Минский) растратили его, и теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же они любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают все в одну кучу (религию, искусство, политику, и т. д., и т. д.) и предаются истерике. Мережковскому мне пришлось просто прочесть нотацию.»

Получив от него длинный ответ в смиренном тоне с уверениями в искренности и «взволнованности», Ал. Ал. еще пуще рассердился: «Лучше бы он не писал вовсе, — пишет он матери: — письмо христианское, елейное, с об'яснениями мертвыми по существу.»

Написав ответ еще более резкий, Ал. Ал. истратил весь запас своего гнева и не стал возражать Мережковскому печатно, несмотря на то, что собирался сделать это непременно. Гнев его остыл.

Дружески сговорился он в этот год с Борисом Николаевичем Бугаевым, Андреем Белым. В письмах к матери сообщает он, что Боря женится, что Боря уезжает отдохнуть за границу. С северо-африканскаго побережья, куда уехал тогда Борис Николаевич, Ал. Ал. стал получать частые и длинные письма.

Между тем жизнь «на людях» продолжается: «Я от разговоров изнемог», пишет Блок матери. Утонченные, глубокомысленные разговоры, и среди всего этого вдруг неожиданная встреча в трамвае, встреча с Барабановым — бывшим товарищем по гимназии. Барабанов — известный Икар — танцор и комик. И Ал. Ал. пишет матери: «Раз в трамвае я встретился с Барабановым — Икаром. Мы хохотали всю дорогу, он — от простой веселости, а я от того, что не мог смотреть на него без смеха. С гимназии он потолстел, но ничего актерского в нем нет. Танцовать стал случайно и непосредственно.»

14 декабря 1910 года, на вечере, посвященном памяти Владимира Соловьева, Блок читал свою речь «Рыцарь-монах». Кроме него, ценного на этом вечере было мало. Сестра философа — Поликсена Сергеевна, произнесла нечто выдающееся. А вообще в устройстве этого «поминания» проявилось и безвкусие и бестактность его устроителей.

Ал. Ал. написал об этом матери: «Соловьевский вечер прошел вяло, так что лучше бы его не было... Я начал второе отделение. Публика, встретившая и проводившая хлопками, не понимала или пряталась в себя, так что я стал сокращать»...

На Рождестве, с'ездив на несколько дней к матери, в Ревель, надарив ей новых книг и показав приготовленный для печати сборник стихов, Саша вернулся домой, и новый — 1911-ый год, встретил дома.

За лето 1910 года Саша плохо поправился. Угнетала его ответственность: тут и стройка, и хозяйство с переменой рабочего персонала. Прежде всем этим заведывала мать. Теперь-же за это взялись молодые. Плохая поправка сказалась во второй половине сезона. После нового года пришлось обратиться к доктору, который нашел неврастению, упадок сил. Посоветовал лечение спермином, шведский массаж. Летом — купанье в теплом море. Спермин подействовал прекрасно. После 8-го вспрыскивания Саша заметно окреп, о чем писал матери. Лечение массажем и гимнастикой начал он в конце февраля. К шведу массажисту ходил три раза в неделю, об'яснялся с ним по немецки. И все это вместе очень ему нравилось. Матери он писал так: «Массаж идет успешно. Швед хвалит мою prächtige Muskulatur. У меня вокруг спины и груди уже образуется нечто вроде музыкального инструмента... Швед уже называет меня атлетом, потому что я выжимаю гирю не большим трудом, чем он»...

В эту зиму Ал. Ал. увлекался французской борьбой, на которую ходил в соседний цирк. Все нравы и обычаи этого спорта он изучил. Вид боробы не только занимал, но и бодрил его. По его словам, борьба поднимала его дух, побуждала его к творчеству. В то время он писал уже свое «Возмездие», которому впрочем уже значительно позже дал это название.

Прилив физических сил после лечения вызывает некоторый перелом во всем его существе. Но об этом он так подробно и определенно пишет матери, что остается только привести здесь это письмо:

... «Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому нибудь морю, м. б., — за границу, м. б., — куда нибудь — в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-ом году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декаденства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны — я — «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — в все более по существу. С другой — я физически окреп, и очень серьезно способен относиться к физической культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановления кровеобращения (пойду сегодня

уговариваться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) — с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешко-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов. Все это — совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом мой европеизм. Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее требование формы, мое в частности; форма — плоть идеи; в мировом оркестре искусств не последнее место занимает искусство «легкой атлетики», и та самая «французская борьба», которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме.

У меня есть очень много наблюдений (собственных) над искусством борьбы, над качеством отдельных художников (которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало — больше ремесленников), над способностью к этому искусству разных национальностей (всего бездарнее, разумеется, русские и итальянцы — и это при большом богатстве внешних данных! Это — падение искусства до «передвижничества» и до современной итальянско живописи). Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной — голландец Ван-Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав

Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно) может возникнуть только тогда, когда 1. поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2. когда мое собственное искусство роднится с чужим (для меня лично — с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой).

Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что-нибудь должное в этом направлении. Пока, во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой...»

В первый раз о поэме упоминает Ал. Ал. в письме к матери от 3-го января 1911 года: «Вчера я дописал (почти) поэму, которую давно пишу и хочу посвятить Ангелине». Затем, от 25-го января: «Я очень деятельно пишу поэму, она разростается». В одном из мартовских писем упоминается о том, что читал поэму Ангелине, которой «при всей разительной разнице наших воспитаний, поэма нравится».

В феврале сошлись две годовщины, две памяти, в чествовании которых должен был принять участие и Блок.

15 февраля его вызывали в Москву, где он должен был прочесть свою речь о Вл. Соловьеве, читанную им в Петербурге год назад. Но, сославшись на легкое нездоровье, Ал. Ал. в Москву не поехал, и речь его прочел за него кто то другой.

10 февраля, от торжественного чествования памяти Коммисаржевской он тоже уклонился. Матери от 10 февраля он пишет: «Мама, я сейчас был в Лавре, на панихиде по В. Ф. Коммисаржевской. Сегодня вдруг весна, все тает, устал от воздуха. На кладбище пошел, надув москвичей и петербуржцев (сегодня должен был читать на литературном утре в театре, а вечером — в Москве). Вчера получил сборник памяти В. Ф. (она не только не забывается, но выросла за год). Там хорошие портреты и моя речь».

Эта речь произнесена была за год перед тем, тотчас после похорон Коммисаржевский, в зале Городской Думы. Кончина В. Ф., почти внезапная, от оспы, в Самарканде, куда она заехала на гастроли со своей труппой, вызвала в свое время сильное волнение в передовых кругах Петербурга. В этом волнении замешан был и Блок, знавший ее лично. Вместе с той многотысячной толпой, которая встречала ее тело на Николаевском вокзале, встречал его и он. Речь, произнесенная им в ту годину выйдет в числе других в полном собрании его сочинений.

В этом году, решительно, одним из больших его интересов был интерес к общественной жизни: «С остервенением читаю газеты, — пишет он матери, — «Речь» стала очень живой и захватывающе интересной. Милюков расцвел и окреп, стал до неузнаваемости умен и широк...» Ненавижу русское правительство («Новое Время»), моя поэма этим пропитана».

Дело дошло до того, что Ал. Ал. пошел на лекцию Милюкова «Вооруженный мир и ограничение вооору-

жений». Остался доволен этой лекцией, нашел ее блестящей, умной: Лекция Милюкова была мне очень нужна». И в одном из пред'идущих писем: «Правительства всех стран зарвались окончательно. М. б. еще и нам придется увидеть три великих войны, своих Наполеонов и новую картину мира». К роду интересов такого разряда приходится отнести и увлечение книгой Семенова о японской войне. Об этой «Расплате» Саша с одобрением несколько раз упоминает в письмах к матери.

Тогда же смягчилось его отношение к Мережковским и к Философову, их неизменному единомышленнику. Уже в начале января он пишет в Ревель: «Читаю новую повесть З. Н. Гиппиус в «Русской Мысли». Видел ее во сне и решил написать примирительное письмо Мережковскому».

А в конце января уже и ответ получил, о чем опять таки сообщает в Ревель: «Получил очень хорошие и милые письма от Мережковских из Cannes. Они оба очень рады тому, что я исчерпал инцидент». В одном из последующих писем: «С Философовым я расцеловался».

В эту зиму Ал. Ал. часто видится с Пястом. Пяст затевает издание журнала с таким составом сотрудников: редакционная комиссия Пяст, Аничков и Блок, ближайшие сотрудники — Вячеслав Иванов, Ремизов, Княжнин, Верховский. Из этой затеи, кроме совещаний, ничего не вышло. Как то не сговорились. Вяч. Иванов предлагал тогда же издавать дневник трех писателей, Андрея Белого, Блока, Вяч.

Иванова. Три разных отдела, об'единенных только тем, что все трое живут «об одном».

Тогда не осуществились эти затеи. Но Ал. Ал. много времени проводил с Пястом, они гуляли вместе. В одном из писем к матери он пишет об этом так: «Вчера мы удивительно хорошо гуляли с Пястом. Прошли пешком из Левашова в Юкки, на шоссе ели хлеб с колбасой, в Юкках пили чай и катались с высокой горы на санях».

Между прочим пишет он матери о некоторых встречах с женщинами: «Мама, ко мне вчера пришла Гильда. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня придти туда, куда она назначит. Я пошел с чувством скуки, но и с волнением. Мы провели с ней весь вчерашний вечер и весь сегодняшний день. Она приехала специально ко мне в Петербург, знав мои стихи. Она писала ко мне еще в прошлом году иронические письма, очень умные и совершенно не свои. Ей — 20 лет, она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду, и говорит все, как должна говорить Гильда. Мы катались, гуляли в городе и за городом, сидели на вокзалах, в кафе. Сегодня оне уехала в Москву».

Такие свидания с «Гильдой» повторялись. Она для этого приезжала из Москвы. И переписка между ними продолжалась с перерывами до последних лет.

В письме от 8-го марта Саша пишет матери: «Я нашел красавицу еврейку, похожую на черную жем-

чужину в розорой раковине. У нее тициановские руки и ослепительная фигура. Впрочем дальше шампанского и красных роз дело не пошло, и стало грустно».

В январе 1911 года мать сообщила Саше, что муж ее получил бригаду в провинции, и, перед от'ездом, они оба собираются провести весну в Петербурге. Для этого надо нанять меблированную квартиру. В поисках такой квартиры Саша провел немало времени. Найти дешевое и порядочное помещение было нелегко. Наконец, в том же доме № 9, на Монетной освободилась такая квартира, и Саша взял ее для матери.

Бригада была получена в Полтаве. Отдаленность места пугала и мать и сына. Саша уговаривал мать остаться в Петербурге. Она не знала, на что решиться, но, на лето, во всяком случае собиралась в Шахматово, куда хотел приехать на некоторое время перед от'ездом за границу и Саша. Люба отправлялась за границу на все лето; она решила основаться на одном из морских купаний и ожидать там приезда мужа.

До конца июля Ал. Ал. жил в Шахматове. Он провел там шесть недель. Надо было присмотреть за постройкой нового дома для работника Николая. Значительную часть своего наследного капитала истратил он тогда на Шахматово. Но и на поездку хватило.

Приехав в Петербург в конце июня, он провел там около недели, доставал деньги из банка, советы-

вался с доктором, посещал друзей. Доктор не нашел у него никаких болезней, но «нервы в таком состоянии, что на них следует обратить внимание». «Через два три месяца правильной жизни все должно пройти». Сообщая в письме к матери все подробности совещания с доктором, Ал. Ал. пишет о том, как он провел последние дни перед от'ездом:

«Вчера был у Пяста в Парголове, а третьего дня — в Царском. То и другое было совершенно разно и очень хорошо. С Женей (Евг. П. Иванов с семьей жил в Царском) мы носились на велосипедах два часа — в Боблово, а с Пястом долго гуляли и сидели в Шуваловском парке. В субботу я поехал в Парголово, но не доехал, остался в Озерках на цыганском концерте, почувствовалось, что здесь — судьба. И действительно, оказалось так. Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необыкновенные вещи, потом — под проливным дождем, в сумерках, ночью на платформе сверкнула длинными пальцами в броне из острых колец, а вчера обернулась кровавой зарей».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Уехал он 5-го июля вечером. Следующее письмо получено в Шахматове уже из Вержболова.

Через Берлин, Кельн, Париж, Ал. Ал. отправился в Бретань, в купальное местечко Abervrac'h ,где ожидала его жена.

Из Берлина открытка: «Мама, я уже в Берлине, пью кофей. Спал скверно, потому что был увлечен полетом поезда и ультра-фиолетовыми лучами ночника. Удивительный и знакомый запах в Германии...»

Из Кельна тоже открытка: ...«пришлось пересесть в первый класс (из Ганновера до Кельна) потому что на Фридрихштрассе сели в мое купэ французские буржуа и австрийский лакей, и стали ругать Россию с таких невообразимо мещанских точек зрения, что я бы не мог возразить, если-бы и лучше говорил по французски...»

Из Парижа Саша прислал матери целую колекцию карточек с изображением химер Notre Dame. Париж ему сразу очень понравился — кажется, в первый и последний раз в его жизни. Вот, что он пишет отсюда матери:

Париж, 6 часов вечера.

«Мама, вчера еще утром я был на Unter den Linden, а вечером я стоял на мосту Гогенцоллернов над Рейном и был в Кельнском соборе, а сейчас пришел из Notre Dame, сижу в кафэ на углу Rue de Rivoli против Hotel de Ville, пью citronnade. Поезд мчался еще быстрее, чем в Германии, жара вероятно до 40°, воздух дрожит над полотном, ветер горячий, Париж совсем сизый и таинственный, но я не устал, а напротив чувствую страшное возбуждение. Париж мне нравится необыкновенно, он как то уже и меньше, чем я думал, и оттого уютно в толпе... Страшно весело — вокруг гремят и кричат, я сижу почти на улице...

Следующее письмо уже из Аберврака:

«Мама, я здесь уже третий день. Третьего дня — выехал из Парижа, было 30°, все изнемогали в вагоне, у меня уже начало путаться в голове; так было до вечера. Вдруг поезд пролетел два коротких туннеля — и все изменилось, как в сказке: суровая страна со скалами, колючим кустарником и папоротником и густым туманом. Это — влияние океана — уже за час до Бреста. В Бресте — рейд полон военных кораблей. Я подумал — и вдруг решил ехать на автомобиле, и не ночевать в гостиннице. 36 километров мы промчались в час. Очень таинственно: ночь наступает, туман все гуще, и большой автомобиль с фонарем несется по белым шоссе, так что все шарахаются в стороны. И черные силуэты церквей. Наконец появились маяки, и мы, проблуждав некоторое время в тумане, нашли гостинницу и в'ехали во двор. . . . .
. . . .
. . . .

Мы на берегу большой бухты, из которой есть выход в океан... Живем окруженные морскими сигналами. Главный маяк (за 10 километров от нас в море) освещает наши стены, вспыхивая каждые 5 секунд. Рядом с ним — неменьше — красный. Кроме того — значки на берегах — все для обозначения фарватера. Вчера был легкий бриз, и мы выезжали на парусной лодке в океан, а потом — в порт Аберврака, где стоит угольщик. Этот угольщик — разоруженный фрегат 20-х годов, который был в Мекси-

канской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Melpomène». На носу Мельпомена — белая статуя, стремящаяся вперед в море. Пустые люки от пушек, а в окнах видны дети. Нет ни брони, ничего, мачты срезаны на половину, реи сняты. А когда то воевал»...

. . . .

В конце этого письма приписка: «Совершенно необыкновенен голос океана. Большая Медведица на том же месте. На юго-восток — звезда похожая на маяк»...

Следующие письма из Аберврака пишутся на целых коллекциях карточек с местными видами. Купанье нравится, идет хорошо, гостинница прекрасная:

«Мы живем в доме XVII века, который был церковью. Рядом с моей комнатой прячут обломки кораблей»...

Во всех письмах, кроме подробностей обихода, купанья, описываются нравы океана, приливы и отливы, появление на горизонте кораблей: «Можно представить себе ужас океана — только увидав его... Между тем только на днях прошла мимо нас японская эскадра из Шербурга. Постоянно ходят военные корабли. Наконец, есть корабли Гамбург-Америка, втрое больше самого большого броненосца (до 8000 человек и груз). И все это кажется маленьким и должно зорко следить за маяками и сигналами»...

В одном следующих писем говорится: «завтракаем с англичанами, которые живут с нами. Семейство простое, мы постоянно разговариваем и купаемся вместе. После завтрака ходим гулять далеко».

...«После обеда, гуляем всегда на гору над морем. Очень разнообразные закаты, масса летучих мышей и сов, и чайки кричат очень музыкально во время отлива. На всех дорогах цветет и зреет ежевика среди колючих кустов и папоротников; много цветов. — Сегодня видели высокий старый крест—каменный, как всегда. На одной стороне—Христос, на другой—Мадонна смотрит в море. Кресты везде...

Купался я сегодня 9-ый раз, уже больше четверти часа, не могу от удовольствия вылезти из воды, учусь плавать. Всю кожу жжет, вода холодная обыкновенно.—Все это (кроме купанья) иногда однообразно и скучновато. Развлечение — единственно, когда бывают Les Pardons, свадьбы (постоянно), песни, и когда в порт к нам приходят яхты. Вчера на закате вошел в бухту великолепный трехмачтовый датчанин...

Очень хорошие собаки, к нам пристает и иногда гуляет с нами хозяйский щенок Фело. Раз, когда я купался, он считал долгом плавать за мной, страшно уставал, у него билось сердце, и приходилось брать его в море на руки. Во время отлива по дну ходят свиньи, чайки. . . «La canaille» пожинает великолепную пшеницу, тяжелую, точно вылитую из красного золота. . . здесь очень тихо; и очень при-

ятно посвятить месяц жизни бедной и милой Бретании. По вечерам океан поет очень ясно и громко, а днем только видно, как пена рассыпается у скал.

И наконец последнее письмо из Аберврака. Он надоел, и решено уезжать. Едут в Quimper. Но перед от'ездом Ал. Ал. пишет матери длинное письмо с описанием нравов. Пишет он, что надоело им между прочим — «невылазная грязь, прежде всего — физическая, а потом и душевная — неот'емлемое качество французов (а бретонцев, кажется, по преимуществу). Первую грязь лучше не описывать· говоря кратко, человек сколько нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции».

Говоря о «душевной грязи», Ал. Ал. описывает французских барышень, купающихся вместе с ними, их холодное бесстыдство. . . Пишет об этом с большим отвращением.

«Замечательны здешние жители, — пишет он дальше: «в них есть чеховское, так — как Бретань осталась в хвосте цивилизации, слишком долго служа только яблоком раздора между Англией и Францией. Например, единственный здешний доктор; всегда пьяный старик с длинной трубкой; у него зеленые глаза (как у всех приморских жителей), на одном багровый нарост. Он мягок, словоохотлив и глубоко несчастен внешне, но, кажется, внутренне счастлив; всегда ему кажется, что его кто то ждет и кто то к нему должен придти; с утра до вечера бегает он взад и вперед по набережной. Его давно уже заменил горбатый доктор из соседнего села, при-

езжающий в маленьком автомобиле; но он не смущается, всегда в повышенном настроении, рассказывает иностранцам историю соседних замков (все перевирая и негодуя одинаково на революцию и на духовенство—это через 122 года) и таскает толстую книгу — жития бретонских святых; очень интересная книга,—я из нее кое-что почерпнул»...

Дальше Ал. Ал. пишет об архитекторе, которому не удалось его архитекторство, о чем он постоянно рассказывает, грустя о том, что вместо того «принужден был жениться на дочери фабриканта и заняться выработкой иода и соды».

Все они с восторгом вспоминают о Париже: «Париж предстоит им всем, как обетованная земля — всегда и неизменно ввиде «Москвы» для трех сестер».

Описывается в письме и «proprìètare», который удит рыбу, охотится и с восторгом вспоминает, как его напоили в Петербурге, где он был с эскадрой адмирала Жерве...

Об англичанах, с которыми приходится проводить много времени и пить чай «после купанья под смоквой и под грушей» сообщаются интересные подробности. Сам глава семьи—«аргентинский корреспондент из Лондона; сообщает по подводному кабелю и посредством фельетонов, написанных под грушей в АберВраке, но помеченных Лондоном, все, что может интересовать аргентинских фермеров... Однажды, в жаркий день сообщил он в Америку из

под груши о том, что в Лондоне на с'езде дантистов дебатировался вопрос о челюстях Габсбургов»...

«У англичанина—семья: жена, которая одна из первых получила высшее женское образование в Англии; сын 12 лет, очень веселый, шаловливый и здоровый мальчик, великолепный клоун; и рыже-красная дочь лет 17, которая играет на рояли, танцует на всех балах, и предпочитает оксфордских и кембриджских студентов блазированным лондонским.

Все семейство—ярые велосипедисты, спортсмены и великолепно плавают. Мы всегда вместе и едим и купаемся... Раз мы пригласили их ехать в море, но только что миновали последние скалы, пришлось вернуться: у меня приключилась морская болезнь, и они же отпоили меня коньяком...

Есть еще немало интересных жителей, о которых можно бы написать: разные морские волки, пьяные ловцы креветок, demi-vierges от 6-ти до 12 лет, которые торчат целый день полуголые на берегу и кричат друг другу голосами уже сиплыми: «t'as tes garçons pour jouer?» Все это даже не удивительно: повидимому это обычный способ «формирования» французской «девы» (pucelle—уменьшительное от блохи).

На днях вошли в порт большой миноносец и 4 миноноски, здороваясь сигналами друг с другом и с берегом, кильватерной колонной—все, как следует, Так как я в этот день скучал особенно и так, как раз в этот день газеты держали в секрете сове-

щание французского посла в Берлине с Киндерлэн-Вехтером (немецкий министр иностранных дел), то я решил, что пахнет войной, что миноносцы спрятаны в нашу бухту для того, чтобы выследить немецкую эскадру, которая пройдет в Африку, через Ламанш (разумеется!), и т. д. Сейчас же стал думать о том, что немцы победят французов... жалеть жен французских матросов и с уважением смотреть на довольно корявого командира миноноски, который проходил военной походкой по набережной. . .

Я, как истинно русский, все время улыбаюсь злорадно над цивилизацией дредноутов, дантистов и pucelles. По крайней мере над этой лужей, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду, можно умыть руки. Над всем этим стоит культура, неудачно и не глубоко названная этим именем. Ее я и поеду смотреть, начиная с покачнувшегося иконостаса Quimper'a.

Пиши в Париж».

Из Quimper'a целый ряд писем. Там пришлось прожить дальше того, что предполагалось, потому что у Саши разболелось горло и повысилась температура. Но августовская жара и лекарства, прописанные тамошним доктором, скоро помогли. Quimper и «красив и стар». Он оказался гораздо цивилизованнее Аберврака.

«Я сижу у окна, только что прошла сильная гроза. Сегодня последний день праздников, начавшихся с Assomption. Вижу, как балаганщики выбиваются

из сил, чтобы заработать напоследок... Перед моим окном две карусели. . .»

Тут же описываются все звери, которые представляют в балагане: слоненок, обезьяна — принц Альберт, зебр, собаки, кошки, попугаи. . . Обо всех этих зверях самые симпатичные отзывы: «Около уборной слоненка почти всегда теснится группа поклонников. Карусель свистит, музыка играет во всех балаганах разное, в поющем кинематографе воет грамофон, хозяева зазывают, заглушая музыку криками, на улице орет газетчик, а к столу подлетают бесчисленные автомобили со свистом, воем и клокатаньем: здесь не только масса французов en vacances, но и богатые американцы и англичане; то пролетит огромный автомобиль с развевающимся американским флагом, разорванным от ветра; то — автомобиль, на котором сидит огромный черный лев с разинутой пастью—очень талантливо сделанный (оказывается — просто «чудо-вакса» под маркой «Lion noir»). . .

Я читаю всевозможные «Je sais tout» и до десяти газет в день (парижских и местных). Пью до 15 чашек чаю и с'едаю до 10 яиц. Все это уже надоело, и я хотел бы поскорее поправиться и ехать прямо в Париж, потому что Бретань, при всей прелести, например Quimper'а, а также некоторых костюмов, которые мы видели, наконец, благодаря праздникам, во всей пышности и во всем разнообразии — всетаки какая то «латышия», отвратительный язык, убогие обычаи. . .

Стихотворение Брюсова «К собору Кэмпера» могло бы относиться к десятку европейских соборов, но никак не к этому. Он не очень велик и именно не «безгласен». Все его очарование в интимности и в запахе, которого я не встречал еще ни в одной церкви: пахнет теплицей от множества цветов; очень уютные гробницы, много утвари, гербов, статуй, сводиков, лавочек и пр. Башни его не очень давно перестроены, готика прекрасная, но не великая, и даже в замысле искривления алтаря — нет величия, хотя много смелости—талантливо, но не гениально. . .

Несмотря на то, что мы живем в Бретани, и видим жизнь хотя и шумную, но местную, всетаки — это Европа, и мировая жизнь чувствуется здесь сильнее и острее, чем в России (отчасти благодаря талантливости, меткости и обилию газет при свободе печати), отчасти благодаря тому, что в каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны («и рвет укроп—ужасное занятье» как говорит Эдгар, водя слепого Глостера по полю) и лихорадочно изо всех сил живет «в поте лица». «Жизнь — страшное чудовище, счастлив человек, который может наконец спокойно протянуться в могиле», так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых, и бедных, шныряние автомобилей, лишенное

всякого внутреннего смысла, и пресса — продажная, талантливая, свободная и голосистая.

Сегодня английские стачки кончаются (повидимому), но вчера бастовало до 25000 рабочих. Это — «всемирный рекорд», говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в самой демократической стране! При этом одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия — нечего и говорить, потому что 60% английской промышлености сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях больших пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было хлеба, не было света. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у них только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что все благополучно, — и кончая обществом эсперантов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране», где рабочие доведены до исступлния 12-ти часовым рабочим днем (в доках) и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дредноутов». Именно, все силы в последние годы, когда Европе некогда тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли все времена романтизма. В Германии и Франции — нисколько не

лучше. Вильгельм ищет войны и повидимому будет воевать...

Французы собираются «mourir pour la patrie». Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и в тайне для этого нет ни каких причин более, потому, что все прошло..

. . . .

Славянское никогда не входило в их цивилизацию, и, что всего важнее, пролетало каким то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне особенно интересно. Я надеюсь наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса (его отрасли самое существенное для меня теперь) в одном уголке Парижа: на задворках Notre-Dame, за моргом есть островок, где жили Бодлэр и Теофиль Готье; теперь там в старом доме — польская библиотека и при ней—маленький музей Мицкевича... Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак»...

В следующем письм из Кэмпера описывается знаменитое похищение Джиоконды в Париже:

«Итак, мне не суждено увидеть Джиоконду. Не знаю, описаны ли в России все подробности ее исчезнования, — здесь газеты полны этим.

22-го утром я лежал в постели и размышлял (или мне полуснилось — не помню) о том, как американский миллиардер похищает Венеру Милосскую. Че-

рез час Люба приносит газету с известием о Джиоконде.

Она была на месте в понедельник в 7 часов утра. В этот день Лувр закрыт для публики, пускают только художников и пр. известных лиц. Народу, однако, было много. Требовалась огромная смелость и профессиональная ловкость, чтоб улучить время снять картину, пройти через 2 залы, спуститься по маленькой лестнице и снять раму и стекло, нисколько их не испортив (это было сделано в ватерклозете). Потом, надо было нести картину по улице — она довольно велика и на деревяной доске. В 10-м часу ее хватились, и в 12-ом уже Лувр был закрыт (и до сих пор не открыт). Вся парижская полиция на ногах. .

Удивительна все таки история этой картины. Джиоконда получала письма, хранители Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения»....

Наконец, 27 августа, приехали в Париж. Остановились в одном из отелей Латинского квартала. Но жара не прекращалась и под влиянием жары и засухи Париж производил особенно тягостное впечатление : «Париж—Сахара—желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы — черно-серые громады мертвых церквей и дворцов.

Мертвая Notre-Dame, мертвый Лувр. В Лувре — глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых

сереют внизу — Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря),— а наверху Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты — и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джиоконда. Печальный, заброшенный Лувр — место для того, чтобы приходить плакать о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Джиоконды — Дредноуты. — Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «A tu vu la Jaconde? Elle est retrouvée — Dix centimes! Или: La Joconde! Son sourir et son enveloppe dix centimes ensemble!»...

В следующем письме из Парижа он уже прямо пишет: «Я не полюбил Парижа, а многое даже в нем возненавидел. Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда. . .»

Дальше описываются улицы, площади, сады, нравы Парижа—все в самых тоскливых тонах: могила Наполеона, да вид с Монмартра — единственно это оставило в нем хорошее впечатление. И в конце письма он прибавляет:

«Вследствие всего этого я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург искать квартиру».

Затем, уже от 5-го сентября, следует carte postale, а за нею письмо из Антверпена, который очень понравился:

«Огромная, как Нева, Шельда, тучи кораблей, доки, под'емные краны, лесистые дали, запах моря, масса церквей, фонтаны, башни. Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно; жарко не так, как в Париже. Вообще уже благоухает влажная Фландрия... Завтра поеду в Брюгге или Гент».

Брюгге не понравился. О нем пишет уже он из Роттердама:

«Брюгге, из которого Роденбах и Турнер сделали «северную Венецию» (Venise du Nord) довольно отчаянная мурья. Лодочка полтора часа таскала меня по каналам. Действительно — каналы, лебеди, средневековое старье, какие то тысячелетние подсолнухи и бузина по берегам. Повертывая обратно: «А теперь новый вид, — n'est ce pas?» «Но ничего особенно нового: другая бузина, другой подсолнух, другая собака облаивает лодку с берега»...

В следующем письме, из Амстердама, Ал. Ал. пишет о жаре, о том, что кусают москиты, путешествовать надоело, и теперь—чрез Берлин прямо в Петербург.

Из Берлина по обыкновению с чувством удовлетворения:

«Едва переехали голландскую границу, стало приятно, очень я люблю немцев».

Вслед за этим письмом мать получила увесистый конверт с карточками зверей из зоологического сада и с раскрашенным портретом Kaiser'a. На обратной стороне карточек написано:

«Я в Берлине отдыхаю, хотя здесь тоже шумно и людно и хотя я целые дни провожу в музеях. Все музеи (художественные) я уж осмотрел. Здесь не то, что в Париже, искусство можно видеть и понимать. Большого так много, что сразу приходишь в отчаяние, но потом начинаешь вникать и видеть. Хождение по музеям — целая наука и особого рода подвижничество; в Германии (и надо отдать справедливость, в Голландии и в Бельгии) музеи устроены почти идеально в смысле особого уюта и обстановки.

Вчера узнал о покушении на Столыпина. Зоологический сад помог преодолеть суматоху, возникшую от этого в душе... Хочу завтра пойти к Рейнгарду — идет Гамлет»...

Наконец, от 18 сентября, последнее письмо из за границы:

«Вчера было очень хорошее впечатление в Гамлете. Смотреть Александра Моисси во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако, он очень талантливый актер. Это — берлинский Качалов, только помоложе, и потому менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака. «Нет, отвечает Горацио, — серебристо-черная, как при жизни.» Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет.

Офелия была очень милая, акварельная. Великолепный актер играл короля, такого короля в Гамлете

я живу в первый раз. Он быя, как две капли воды, похож на Мартына*), и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Фортинбрас (!), и королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес, и Марцел стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только «Ein Stück Horatio», а Гамлет пришел в теплой шубе — все это очень хорошо.

Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин — и Офелия, и Софья молчаливы; оттого приходится болтать принцам — Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам; но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральны—и этим угождают публике, которая этого не стоит... Рейнгардт, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени: не то петух вдали, а впрочем — неизвестно что, как всегда бывает в этих случаях». . .

Следующее письмо прислано в Шахматово уже из Петербурга: «Я очень рад, что вернулся... По Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купэ

*) Наш Шахматовский работник—латыш Прим. М Б.

первого класса, дав пруссаку 3 марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких за границей никто не ведет. Сразу родина показала свое и свиное и божественное лицо...»

В Шахматове, после от'езда Саши заграницу мы с сестрой жили не весело. Она все болела, и пугало ее переселение в Полтаву. Но в августе вдруг из Полтавы пришло от ее мужа радостное письмо: он получил бригаду в Петербурге. Это был счастливый момент в нашей жизни. Алекс. Андр. тотчас же написала об этом сыну, и он ответил ей, уже из Берлина, что весь день радовался и доволен тем, что все это так естественно устроилось.

Квартиру в этом сезоне Блокам переменить не пришлось; не нашли ничего подходящего и остались на Монетной.

Мать и отчим поселились на Офицерской, № 40, против Литовского Замка. Мать и сын виделись часто, и часто ходил на Монетную деньщик с какими-нибудь записками или посылками. Бывало и так, что придет по почте коротенькая записка, всего несколько слов: «Мама, тебе очень грустно. А я думал о тебе. Саша».

Такие посылки несказанно ободряли мать.

В ноябре месяце мы, все вместе — Блоки, Кублицкие и я, взяли ложу в Мариинский театр и отправились слушать «Хованщину». Всех нас поразила своей глубокой красотой опера Мусоргского. Ал. Ал. был страшно нервен, волновался. Ему нравился Ша-

ляпин. На другой день мать получила от него письмо: ...«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание Святого Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание Духа»...

Эта зима 1911—12 года прошла под глубоким и упорным впечатлением нового открытия: Ал. Ал. узнал Стриндберга, на которого указал ему Пяст, указал настойчиво, так что и потом Ал. Ал. не однократно повторял: «Пяст научил меня Стриндбергу». Открытие Стриндберга он считал одним из событий в своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада — такое сочетание оказывалось до крайности знаменательным для Блока, и в этом периоде всякий шаг его жизни был буквально связан со Стриндбергом.

В феврале 1912 приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Саша виделся с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгих перерывов, после многих уже миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу со Штейнером. Лично Блоку теософия была чужда, но он писал матери: «Теософия в наше время, повидимому, есть один из реальных путей познания мира Не даром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе».

В эту зиму поэма была отложена. Блок стал относиться к ней холоднее, с нерешительностью и долго не возвращался к начатому труду.

На Пасхе завязалось новое знакомство, имевшее важные последствия; Михаил Иванович Терещенко, очень богатый человек, знаток и любитель искусства затевал в Петербурге большое театральное дело и хотел поставить в своем будущем театре какую-нибудь новую, значительную вещь. Он знал и исключительно любил стихи Блока и пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство состоялось через посредство Ремизова. По желанию Терещенки Блок взялся написать сценарий к балету. Балет из провансальской жизни. Музыку будет сочинять Глазунов. Ал. Ал. тотчас же стал работать над балетом. Скоро выяснилось, что будет не балет, а либретто к новой опере, но и эта мысль вскоре была оставлена, и на свет явилась драма — «Роза и Крест».

Бесконечная требовательность автора к собственному труду, искание классической простоты, законченности, сжатости формы — все это заставляло периодами охладевать к писанию. Но Михаил Иванович Терещенко настаивал на продолжении, верил в силу и талант Блока и принимал близко к сердцу все, что касалось «Розы и Креста».

Еще в июне 1912 года Ал. Ал. писал матери в Шахматово: «Одно время мне показалось, что выходит не опера, а драма: меня ввело в заблуждение одно из действующих лиц, которое по характеру,

скорее драматично, чем музыкально. Это — неудачник Бертран».

Когда Ал. Ал. прочел нам «Розу и кресть» в первоначальной редакции, приехав для этого в Шахматово, нам сразу стало ясно, что написана драма. Но и после он продолжал работать над нею и переделывать ее еще и еще, добиваясь выпуклости характеров, ясности, сжатости, простоты форм. В феврале 1913 года «Роза и Крест» закончена окончательно.

В это лето Саша приезжал к нам, в Шахматово раза два, и всякий раз ненадолго. Люба играла в Териокках, в труппе Мейерхольда, состоявшей почти исключительно из молодежи, находившейся под влиянием своего режиссера. Играли пьесы классического или строго- литературного репертуара и пантомимы, сочиненные самим Мейерхольдом. Любовь Дмитриевне поручали крупные роли. Она была очень занята; в свободные дни приезжала к мужу. Ал. Ал. ездил в Териокки, где, разумеется, всегда оказывался желанным гостем. В первый раз попал он туда на несостоявшееся открытие театра. Матери он пишет о том, как хорошо провел этот вечер с актерами:

«Сначала сидели на театральной даче. Она большая и пахнет, как старый помещичий дом. Все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку».

Тут же состоялась репетиция одной из пьес. Ал. Ал. остался доволен настроением актеров: «Духа пустоты нет — все очень подолгу заняты. Все веселые и серьезные. У Мейерхольда прекрасные дети и такс. За сосновым парком — море, очень тор-

жественное; был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте — маяк».

После открытия спектаклей:

«Театр небольшой, был почти полон, и хлопали много. Мне ничего не понравилось. Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса*) разыграли бойко. Спектаклю предшествовали две речи Кульбина**) и Мейерхольда, очень запутанные и диллетантские, содержания, насколько я сумел уловить, очень мне враждебного (о людях, как о «куклах», об искусстве, как о счастьи). Не хотелось итти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, — и потом я уехал на станцию».

В Териокках Саша смотрел и Кальдерона («Поклонение Христу») и пьесу Уайльда, в которой Люба играла роль светской старухи. И все это его не удовлетворяло. Однако, резких приговоров он не произносит и, когда осуществилась постановка неизданной Стриндберговской пьесы «Виновны — невиновны», он остался вполне доволен. Пьесу эту ставили вскоре после смерти ее автора, в переводе Ганзена. Роль Жанны играла Любовь Дмитриевна. Ал. Ал. написал матери:

---

*) „Два болтуна.“

**) Доктор Кульбин — один из инициаторов театра — художник с футуристическим направлением, человек уже пожилой, очень симпатичный и всеми в своей среде любимый. Теперь уже покойник.

«Спектакль был весь праздничный и несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папортником. Все первое действие Люба не сходила со сцены и, наконец, по настоящему понравилась мне, как актриса: очень сильно играла. Действие происходит в церкви, Жанна (которую она играла) стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий (пьеса написана тогда же, когда «Inferno»); Люба говорила, наконец, своим очень сильным и по звуку и по выражению голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы в свою очередь написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молнии на очень черной туче; в те годы Стриндберг говорил исключительно языком молнии; мир, окружавший его тогда, был, как грозовая июльская туча,—tabula rasa, на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги.

Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера) повидимому это, если не поняли, то почувствовали, и потому — все 8 картин на сцене, неярко освещенной — задний фон — сине черный занавес, сквозь который просвечивают беспорядочные огни. Иногда появится на нем красное пятно; все время мелькают на нем то бутылки с вином (парижское кафэ), то лоснящийся цилиндр и узкий сюртук

героя, которого математика рока загоняет в ужасное; то битая морда сыщика или комиссара; то красное манто кокотки и отсвечивающий рубином крест у нее на груди; вдруг среди кафэ, в сценическом положении почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии; полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии.

Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг.

Среди публики, очень внимательной, довольно многочисленной и непохожей на русскую дачную (много шведов и финов) была дочь Стриндберга; Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по шведски, ни по немецки; она очень высокая, худая пожилая женщина в треуголке с белым пером, одета просто; некрасивостью и измученностью очень напоминает отца, напоминает самым лучшим образом. Она говорила между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсингфорская актриса».

В июне этого лета в Териокках произошло трагическое происшествие, о котором Ал. Ал. сообщает матери в нескольких письмах: утонул молодой художник Сапунов, с которым поэт сошелся пред'идущей зимой. 15 июня он пишет:

«Мама, не беспокойся обо мне, когда прочитаешь в газетах известие, что Сапунов утонул в море около Териокк. Меня там не было, не поехал, хотя за 6 часов до этого он меня звал туда по телефону

устраивать карнавал. Мы с ним часто виделись последние дни, он был очень чистый и простой. На днях должен был писать мой портрет».

В это лето Саша часто виделся с представителем «Русского Слова» в Петербурге Румановым. Руманову хотелось сделать из Блока грандиозного публициста. На эту мысль навели его статьи и заметки Блока. Они часто встречались. В одном из писем к матери есть и об этом:

«Мы с Румановым завтракали на крыше Европейской гостинницы. Он меня угощал. Там занятно: дорожки, цветники, вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем, так что одну минуту я ясно представил себе Gare du Nord, как она видна с Монмартра влево».

Из грандиозных замыслов Руманова, как известно, не вышло того, чего он желал, но Саша относился к нему с симпатией.

В исключительно жаркую вторую половину лета Саша вместе с Пястом постоянно ездили купаться в Шувалово:

«Вода в озере мягкая и теплая, удивительно ободряет. Шуваловский парк оказывается нравится мне потому, что похож на Шахматово; не только формы и возраст деревьев, но и эпоха и флора не отличаются почти ничем. И воздух похож».

Стихи Блока дают понятие о том, как он любил цыган и их пение — вкус, который разделяли, кажется, все крупные русские художники.

И в это лето, как всегда, он слушал цыган. По поводу концерта Раисовой он пишет:

«У цыган, как у новых поэтов, все «странно». Год назад Аксюша Прохорова пела: «Но быть с тобой и сладко и странно». А теперь Раисова поет: «И странно и дико мне быть без тебя, моя лебединая песня пропета»...

«Озерковский театр на горе, — пишет он дальше, и перед спектаклем все смотрели, как какой то, кажется, Блерио, описывал над Петербургом широкие круги на высоте, которой я, кажется, еще ни разу не видел. Почти пропадал из глаз и казался чуть видным коршуном, а когда пролетал над Озерками, доносился шум пропеллера»...

Еще в июне Ал. Ал. занимался приисканием новой квартиры. Она была найдена очень скоро на Офицерской, № 57, на углу набережной Пряжки, в 4-ом этаже. Квартира эта знакома многим. О ней есть кое что и у Анны Ахматовой. Здесь Блоки прожили около 9 лет. Оба очень ее любили. В письме к матери Саша описывает вид из ее окон:

«Вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон.— За эллингами Балтийского завода, которые расширяются теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергиевского монастыря (на Балтийской дороге). Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море закрыто домами».

Вид, действительно, прекрасный, и Саша забыл еще упомянуть о том, какой тут красивый изгиб Пряжки, которая отражает прибрежные дома.

На новую квартиру переехали в конце июля:

«Квартира мне очень нравится: — вчера по случаю приезда Пуанкарэ, были видны где то в порту французские флаги и проследовали за домами чьи то высокие мачты».

Устроив новое жилье, Ал. Ал. и Люб. Дм. побывали в Шахматове. Вернулись в Петербург к сентябрю.

Всю первую половину сезона 1912—13 года Ал. Ал. был занят писанием драмы «Роза и Крест». Когда пьеса была закончена, он собрал у себя на дому небольшой кружок, которому прочел свою новую драму. В числе присутствующих был Мейерхольд и Евгений Павлович Иванов, слушали, разумеется, и мы с Ал. Андр. Драма произвела очень сильное впечатление. Мейерхольд был поражен, между прочим, стройностью развития действия и законченностью отделки. «Вы никогда еще так не работали», — сказал он автору. «Роза и Крест» появилась в печати в том же году во вновь возникшем издательстве «Сирин», основанном Терещенко. Торжественное открытие «Сирина» случайно совпало с днем рождения Ал. Ал. 16-го ноября. Издательство помещалось на Пушкинской. Каждую субботу в редакции собирались ближайшие сотрудники альманахов, выпускавшихся по мере накопления матерьялов. Ал. Ал. не пропускал почти ни одного собрания. Здесь он встречался

между прочим с Разумником Васильевичем Ивановым (Иванов Разумник) и проводил целые часы в разговорах с ним. Так возникла та дружеская связь, которая соединяла их до конца жизни поэта. Отношения с Терещенко становились все задушевнее. Ал. Ал. познакомился с матерью и сестрами Мих. Ив. еще прошлую зиму и теперь продолжал бывать в его доме на Дворцовой набережной. Мих. Ив. оставил мысль о театре и все свое внимание сосредоточил на «Сирине». При выборе того, что печаталось, как в альманахах, так и в отдельных изданиях, он руководствовался советами Ал. Ал. По его указанию был напечатан в альманахах «Сирина» роман А. Белого «Петербург». Вышло также полное собрание сочинений Брюсова, Бальмонта, Сологуба и Розанова. Терещенко собирался, разумеется, издать и собрание сочинений Блока, но тут вышла неудача: издательство «Сирин» прекратило свою деятельность по случаю войны, и сочинения Блока остались под спудом.

В числе издательств, с которыми имел дело Блок, нужно упомянуть детский журнал и издательство «Тропинка». Издавали и редактировали то и другое П. С. Соловьева и Н. Н. Манассеина, обе талантливые писательницы. «Тропинка» выделялась среди строго педагогической серизны детских журналов того времени своей художественной окраской и живым содержанием без нарочитой морали.

С П. С. наша семья была знакома давно. Ближе всего сошлась она с Ал. Андр., которая после возвращения из Ревеля в Петербург стала часто бывать в

«Тропинке»*), где по средам собирались за чайным столом сотрудники и друзья П. С. Ища подходящего занятия, сестра предложила издательницам держать корректуру их журнала и издаваемых ими книг. Предложение было принято, и в течение двух лет Ал. Андр. состояла корректором «Тропинки». Ал. Ал. бывал иногда в «Тропинке», как гость, и очень сочувствовал направлению журнала. В «Тропинке» были напечатаны впервые его известные стихи «Вербочки».

В конце этой зимы Ал. Ал. стал посещать вновь возникший на Обводном канале общедоступный театр, называвшийся «НАШ ТЕАТР». Репертуар был серьезный: Шекспир, Ибсен, Мюссе. Дело вел бывший актер театра Комиссаржевской Зонов, который хотел поставить в своем театре «Розу и Крест», но Ал. Ал. не разрешил этой постановки. В труппе Зонова участвовала между прочим и Люб. Дм. Театр существовал не долго, летом Зонов основался в Териокках.

Во время весенних гастролей Московского Художественного Театра Ал. Ал. пригласил к себе Станиславского и прочел ему «Розу и Крест», но при первом чтении пьеса не понравилась Константину Сергеевичу. Впоследствии он переменил свое мнение и оценил «Розу и Крест», но об этом я сообщу в свое время.

---

*) „Тропинка“ помещалась в квартире П. С. Соловьевой.

Весной Ал. Ал. опять потянуло за-границу и к океану. Здоровье его было неважно. По совету доктора он решил ехать на Бискайское побережье.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В мае Блоки стали готовиться к от'езду за-границу. 12-го июня они выехали из Петербурга по направлению к Парижу. Послав матери открытку с германской границы, Саша написал ей из Парижа всего два письма — оба вялые, и невеселые: «В общем мне скучно, — пишет он во втором письме, — я брожу с утра до вечера по городу... В Лувре я тоже бродил, но мне мало что понравилось, смотреть трудно. Музей восковых фигур интереснее». Побывал он, конечно, и на Монмартре. «Всетаки я больше всего люблю это место», — об'ясняет он матери. Из Парижа уехали 6 июля н. ст. После утомительного переезда в вагоне без спальных мест и долгих поисков помещения, Блоки нашли хороший отель с пансионом и взяли две комнаты с видом на океан. Первое письмо с места написано 7 июля н. ст. вечером: «Мама, вот мы где поселились. Местечко называется Ghéthary... Сейчас довольно свежо, погода еще не купальная. Прямо передо мной — океан, ни чем не загражденный. Далеко под окнами — терраса из тамариндов и пляж. Волны так шумят, что заглушают железную дорогу, которая проходит сзади отеля (мы на узкой полосе берега между ней и

морем). Прибой немногим слабее, чем в Биаррице, который сейчас светится вправо от меня совсем близко (меньше 10 верст по берегу и там вращающийся маяк). Сзади нас цепь Пириней, невысокая... Пока мне все это нравится, особенно океан и небо. — Сейчас все черное, только — огни Биаррица, какие то далекие огни в океане и просветы в небе. Вся моя комната пропитана морем». В Гетари Ал. Ал. нравится еще больше, чем в Бретани. «Здесь все так грандиозно, как только может быть, — пишет он, — на открытках с местными видами, — в Бретани мы были около бухты, хотя и большой, а здесь — открытый океан. Нас перевели вчера в настоящие комнаты, у меня окно во всю стену, прямо на море, я так и сплю, не закрывая его. В самой деревне тихо и все пропитано запахом цветов. Всюду— огромные дали. Сегодня мы купили за 40 сантимов большой букет роз. В оранжерее поспевает виноград. Тамаринды растут из под каждого камня, как бузина, и луга почти как в Шахматове. Берег похож на бретонский. Такие же скалы, папоротник, ежевика. Только немногим богаче — всюду белые дома и виллы... Молодой месяц я увидел справа, когда мы выехали из Парижа. У меня перед окном Большая Медведица, высоко над головой». Посылая открытки с видами Сан-Себастиана, он пишет: «купаться очень хорошо. Один день провели в Биаррице, другой в Сан-Себастиане. Сан-Себастиан очень хороший старый город. Я провожу много времени с крабами. Они таскают окурки и кушают табак».

В следующем письме описывается поездка через испанскую границу в день национального праздника. Побывав в испанском городке Fuenterrabia, Блоки смотрели с французского берега, как танцуют фанданго и другие басские танцы. В конце письма неожиданная приписка: «Мне хочется в Шахматово». Одна из причин этого желания вероятно та, что уже 10 дней нет писем от матери, и он о ней беспокоится. Хотел даже посылать телеграмму, но через день получил письмо и успокоился. Несмотря на прелесть купанья и океан, в Гетари всетаки было ему скучновато. «Вчера мы нашли в камнях в море морскую звезду, спрутов и больших крабов. Это самое интересное, что здесь есть», — пишет он матери. Когда Гетари стало надоедать, Блоки начали часто ездить в Биарриц: «сегодня я купался четырнадцатый и пятнадцатый раз — утром здесь, у нас, а днем в Биаррице, — пишет он, в Биаррице волны больше наших, но на ногах все таки удержаться можно, только иногда приходится высоко прыгать, потому что волна идет выше роста, как стена, с пеной наверху; это очень весело... Дни проходят так: в восьмом часу мы встаем и пьем кофе, потом до завтрака (12 час.) гоняем и дразним крабов... Купаемся или утром или днем, обедаем в 7 часов, потом немного гуляем. Люба ложится спать в 9—10 часов. Я читаю (прочел «Серафиту» Бальзака), многое не понял и пропустил, скучно; читаю Шекспира. Засыпаю часов в 11—12, когда мимо проходит Süd-Express (в Мадрид). Народу в отеле много, мы не

знакомимся ни с кем. Днем находят скука и тоска. Каждый завтрак и обед я смотрю на испанку, необыкновенную красавицу, которая живет с нами в отеле; мы называем ее Perla del Ocean». Между прочим, Саша начал учиться плавать у Люб. Дм.

В конце июля совершены три поездки. Ездили на лошадях из Saint Jean de Luz'a в Пиренеи: ...«сорок километров по горным деревням. Там очень красиво и лесисто, однообразие береговой полосы пропадает, ни одного тамаринда уже нет, много цветов, речки, болота, толстейшие дубы, старые церкви; цветут розы, магнолии, местами душистые акации, поспевает виноград. От жары я в этом году совсем не страдаю, хотя несколько часов в день бывает очень жарко, и все время вокруг ходят грозы. Плаваю все лучше».

Потом поехали на испанскую границу и оттуда на лошадях в Испанию — в деревню Vera в Пиренеях.

...«Там тишина, лесистые долины и скалы, всюду страшные усатые испанцы-стражники — во всякой деревне и на всяком мосту берут пошлину. Возвращались по горной дороге через Col d'Ibardin, откуда виден, как на карте, — изгиб Бискайского залива, ланды, Биарриц и все городки на испанской границе. Очень долго ездили, часов пять. . .»

Третья поездка совершена была из Биаррица. На этот раз ездили верхом в сопровождении берейтора.

...«Проехали 16 километров, много из них галопом. День был ветреный, мы скакали по берегу моря

в ландах, к устью Адура, где саженные волны борятся с рекой. Я отвык ездить, да и лошадь непослушная (огромная, тяжелая, гривка подстрижена, любит сахар), так что у меня до сих пор все мускулы болят».

После этой прогулки Блоки переселились из Гетари в Биарриц, намереваясь ехать в обратный путь через Париж:

«Приехали и остались здесь жить, думаю, на неделю, — пишет Саша, — очень уж жаль расставаться с морем. Уезжать из Gethary было очень жаль. Вчера мы купались долго, минут сорок, волны сбивали с ног».

Если припомнить, что перед первой поездкой за-границу доктор советовал Ал. Ал. купаться не более четверти часа зараз, то станет понятно, до какой степени он увлекался купанием. Сорок минут в океане — это доза, которую может выдержать только очень сильный человек и при том местный житель. Для северянина, да еще не привычного к морю, это страшно много. Но неумеренное купанье, повидимому, не вредило Саше, он только много спалъ, но чувствовалъ себя очень бодро, также хорошо действовало оно и на Люб. Дм. Вообще, она не уступала мужу ни в выносливости, ни в интересе ко всему окружающему — касалось ли это природы, людей или искусства. Между ними было только одно коренное расхождение: в противоположность мужу, Люб. Дм. особенно любит Париж и французский XVIII век.

Пребывание во Франции, хотя и на океане, в конце концов таки надоело Ал. Ал. В письме от 5-го августа он уже начинает браниться и наводит на все жестокую критику:

«Биарриц наводнен мелкой французской буржуазией, так что даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин. Вероятно, от такой société стало трудно найти пропитание, в ресторациях подают всякие отбросы с перцем. Да и вообще надо сказать, что мне очень надоела Франция, и хочется в культурную страну — Россию, где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанья (хлеб и говядина), питье (чай и вода), кровати (не пятнадцать аршин ширины) и умывальники (здесь тазы, из которых никогда нельзя вылить всей воды, вся грязь остается на дне; кроме того, на поганом ведре еще покрышка—и для издевательства над тем, кто хотел бы умыться, это ведро горничные задвигают далеко под стол; чтобы достать его, приходится долго шарить под столом; наконец, ведро выдвигается, покрышка скатывается и все блохи, которые были утоплены в ведре накануне, выскакивают назад и начинают кусаться). Блохи здесь совершенно голодные, потому что француженки не с'едобны, испанки очень стары и еще злее блох, а иностранцы — только мы одни; на персидский порошок я издержал тысячу франков... Вчера мы ездили через имение Ростана в Пиренеи — Pas de Rolands. Французы переводят это — «путь Роланда» (а я—«здесь

нет Роланда»), там есть ущелье, где будто бы прошла вся армия Роланда. . .»

В письме из Парижа от 9-го августа Ал. Ал., однако, не поминает лихом ни Биаррица, ни Франции:

«Уезжать из Биаррица было очень жалко. Последние дни я купался по два раза (всего 32 раза). Последний день море было холодное, волны бушевали и не давали ни плавать, ни стоять на ногах. Все это испанско-французское побережье — прекрасная страна».

Но Париж опять произвел неприятное впечатление. В Париже на этот раз главным образом делались покупки, заказывались костюмы и прочее.

... «Я сейчас сижу в том самом кафэ и за тем самым столом, за которым сидел, когда попал в Париж в первый раз в жизни. Совсем иначе теперь. Париж нестерпим. Я очень устал за эти дни; слава Богу, с портными все кончено и завтра днем мы уедем».

В воскресный день, когда магазины закрыты, Блоки поехали в Версаль. Очень он не понравился Саше.

«Все, начиная с пропорций, мне отвратительно в XVIII веке, потому Версаль мне показался даже еще более уродливым, чем Царское Село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь истоптан».

Следующее письмо от 3-го августа ст. ст. уже из Петербурга. Настроение хорошее. Рад, что вернулся в Россию, да еще на таможне ничего не отобрали. Письмо в благодушно-шутливом тоне. Перечисляются вещи, привезенные из за-границы; «У Любы тоже

очень много нового—два чемодана, костюм — портной, шляпы, перья и много другого».

В Шахматово Саша проехал один и прожил с нами до сентября. Ему было там очень хорошо. Он много занимался чисткой сада причем нередко пугал нас с матерью смелостью своего размаха. Рубить деревья было всегда одним из его любимых занятий, при чем он обыкновенно увлекался, хватал через край, и рубил кусты и деревья без всякой видимой надобности. Надо признаться, однако, что многое из того, что он делал, меняя какой нибудь привычный вид, или нарушая красивую группу, оказывалось впоследствии очень полезным для сада или дома. От его рубки в доме становилось светлее и суше. На этот раз он вырубил целую группу старой сирени, что, пожалуй, было и лишнее.

В этот месяц, проведенный в Шахматове в полном уединении, мы развлекались шарадами. Саша любил всякие загадки и каламбуры, а я легко сочиняю подобные шутки. Сначала я успешно загадывала обыкновенные шарады, а потом придумала особый вид шарад в рассказах. Помню, какой эффект произвела загаданная мною за утренним чаем шарада «шпаргалка», для которой я сочинила целый рассказ, вклеив в него все три слога. С этих пор я должна была ежедневно придумывать такие шарады. Саша увлекался ими совсем по детски: смеялся, радовался. Потом он начал и сам сочинять нечто в том же духе, но всегда очень натянутое по смыслу, громоздкое по форме, и уморительно смешное. Уже

к чаю приходил он с таинственным видом и немедленно начинал загадывать шараду, сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия. В конце августа приехала на короткое время Любовь Дмитриевна. Она ахнула при виде срубленной группы сирени, но остальные вырубки, кажется, одобрила. В это время шарады были в полном разгаре. Любовь Дмитриевна много и весело хохотала над Сашиными измышлениями. При ней сочинил он длиннейшую шараду в духе романа 30-х годов, которую рассказывал целый день с утра и до вечера, придумывая все новые и новые стильные подробности. Загадываемое слово было: «завсегдатай» — и каламбур, и шарада. Когда-нибудь, я надеюсь, более подробно изложу эту шутку, теперь же ограничусь лишь кратким сообщением.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сезон 1913—14 года ознаменовался новой встречей и увлечением. Осенью Ал. Ал. собрался в Музыкальную Драму, которая помещалась тогда в театре Консерватории. Его привлекала Кармен. Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которое ему очень понравилось, но особенно сильного впечатления тогда не вынес. В Музыкальной Драме он увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответ-

ствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пеньи Дельмас.

Ты, как отзвук забытого гимна
В моей черной и дикой судьбе.
О, Кармен, мне печально и дивно.
Что приснился мне сон о тебе.

В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетенных ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей...

Александр Александрович много раз слышал «Кармен» в том же пленительном исполнении. В марте произошло его первое знакомство с Л. А. Дельмас в театре Музыкальной Драмы. И в жизни артистка не обманула предчувствий поэта. В ней нашел он ту стихийную страстность, которая влекла его со сцены. Образ ее, неразрывно связанный с обликом Кармен, отразился в цикле стихов, посвященных ей. Да, велика притягательная сила этой женщины. Прекрасны линии ее высокого, гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное переменчивое лицо, неотразимо —влекущее кокетство. И при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко зву-

ащий на низких нотах. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напроив — весь он солнечный, легкий, праздничный. От его веет душевным и телесным здоровьем и бесонечной жизненностью. Соскучиться с этой Карен также трудно, как с той настоящей из новеллы Иеримэ, на которую написал Бизэ свою неувядамую оперу. Это увлечение, отливы и приливы которого можно проследить в стихах Блока, не только икла «Кармен», но и цикла «Арфы и скрипки», лилось несколько лет. Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней. К тому эпизоду, сыгравшему важную роль в его жизи, мне не раз еще придется вернуться.

В 1914 году написан цикл стихов «Кармен». С нваря этого года Александр Александрович принял участие в новом журнале «Любовь к трем апельсиам», основанном Мейерхольдом и Владимиром Ник. Соловьевым, режиссером, литератором и драматурэм, разделявшим идеи Мейерхольда о новом тетре с упрощенной обстановкой и возобновлением абытого жанра Comedia del arte. Александр Алесандрович не сочувствовал теориям Мейерхольда и оловьева, но из дружеского отношения к ним, соласился принять участие в их журнале в качестве едактора отдела стихов. В одном из первых номеов появились стихи Анны Ахматовой, посвященные ему, и его ответ на эти стихи, в другом — стихи . Гиппиус. В августе напечатан цикл стихов Кармен».

Практически Мейерхольд воплощал свои идеи в студии, возникшей с осени этого сезона, которую посещала, между прочим, Любовь Дмитриевна. На Пасхе Мейерхольд поставил в зале Тенишевского училища «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока в исполнении своей студии. В постановке, давшей образчик работы студии, было много праздничного и остроумного. Скучный Тенишевский зал расцветился пестрыми бумажными фонарями и другими украшениями, слуги просцениума в оригинальных костюмах на глазах у зрителей разбирали и ставили декорации, при чем сам Мейерхольд работал наравне с ними. В антракте в публику бросали апельсины, под знаком которых давались спектакли. Сначала шла «Незнакомка». Два первых видения игрались внизу перед подмостками. На месте кабачка был воздвигнут мост, на котором встречались все действующие лица последующего видения. Третье — в гостиной — происходило на подмостках и было поставлено в духе «гротеска». У действующих лиц были наклеенные носы и все они двигались автоматически, почти, как куклы. Посетители кабачка были тоже с наклеенными носами. В «Балаганчике» первая картина шла на подмостках, вторая — внизу. Играли в общем слабо, были только отдельные удачные моменты. Но на спектакль этот не следовало смотреть, как на театральное достижение, это была дружная и серьезная студийная работа, вполне бескорыстная. Все участники спектакля работали да-

ром, горя желанием служить искусству, и с благоговением относились к замыслу автора.

Любовь Дмитриевна принимала живое участие в постановке пьес. Она шила костюмы и играла даму-хозяйку из третьего видения «Незнакомки». Жаль было видеть ее в этой неприятной роли, еще подчеркнутой трактовкой Мейерхольда. Александр Александрович отнесся к этому представлению, как к интересной попытке, он был в тот вечер в хорошем настроении и все принимал благодушно. Кроме того ему было всетаки приятно видеть свою пьесу на сцене: судьба не баловала его в этом отношении. Спектакли Мейерхольда шли всю пасхальную неделю. Успех был средний. На лето Любовь Дмитриевна опять поступила в труппу Зонова, которая играла в Куоккале, выступала в нескольких больших ролях и с успехом.

Саша оставался в Петербурге до 8 июня. Весной он часто встречался с Л. А. Дельмас, видался с друзьями, чаще всего с Е. П. Ивановым, который переживал тогда большое личное горе. В это же время Александр Александрович сделал первые шаги к постановке «Розы и Креста». Он передал драму через Мейерхольда цензору Дризену, но дело с цензурой затянулось чуть не на целый год, так как опасались, что пьесу не пропустит духовная цензура. Между прочим смущало название, которое могло показаться кощунственным с ортодоксальной точки зрения.

Приехав в Шахматово, Саша занялся переводом новеллы Флобера «St. Julien l'hospitalier», предна-

значавшимся для полного собрания сочинений Флобера в издании Гржебина. («Шиповник»). Перевод выходил не ровный: местами очень хороший, местами слабый. Александр Александрович не довел его до совершенства и оставил в незаконченном виде. Он так и не появился в печати. Александра Андреевна переводила для того же издания переписку Флобера, которая должна была выходить под редакцией Блока. Работа эта закончена, но напечатан только первый том писем.

Между тем события шли своим чередом. Грянула весть о войне, которая непосредственно коснулась и нас, так как в семье был военный. Александра Андреевна получила телеграмму от мужа, вызывавшего ее в Петербург. Франц Феликсович лечился в то лето в Крыму от болезни почек. Начальство вызвало его в Петербург по случаю мобилизации. 19-го июля сестра уехала из Шахматова вместе с Сашей. Я осталась одна с прислугой хозяйничать и доживать лето.

Бригада, которой командовал Франц Феликсович, стояла в Петергофе. В мирное время он ездил туда только изредка, так как обязанности бригадного командира не сложны. Теперь же ему пришлось переселиться на казенную квартиру в Петергоф для приведения бригады в боевой порядок. Поехала с ним и Александра Андреевна. Петербургскую квартиру Кублицкие оставили за собой, так как в Петергофе приходилось жить только до выступления в поход, которого ожидали вскоре.

Александр Александрович встретил весть о войне с волнением и какой то надеждой. На войну он не рвался, это было ему не свойственно, но пожелал участвовать в работе, имевшей касание к войне. Он поступил в ближайшее районное попечительство, оказывавшее помощь семьям запасных, и работал в комитете, председательницей которого была госпожа Депп. Он делал обследования, собирал пожертвования и т. д.

Любовь Дмитриевна готовилась в сестры милосердия. Она прошла подготовительный курс сестер, причем ходила за ранеными в Александровской больнице. В конце августа она уехала на войну в одном из первых отрядов Кауфмановской общины, в госпитале, оборудованном на средства семьи Терещенко. Все мы, разумеется, ее провожали. Она работала, главным образом, в Львовском госпитале, провела на театре войны девять месяцев. Из нее вышла образцовая сестра милосердия—не сентиментально — слезливая, пишущая, письма «солдатикам» часто в ущерб более важным обязанностям, но строго исполнительная, энергичная, неутомимая и авторитетная.

Франц Феликсович отправился на войну в октябре. Бригада его выступила из Петербурга, куда и переселились Кублицкие незадолго до выступления в поход. Франц Феликсович проделал всю боевую кампанию. Он командовал сначала бригадой, потом дивизией, участвовал в Галицийском походе, составляя часть армии Брусилова. Зять мой был честнейший и

исполнительный служака, неукоснительно заботился о солдатах, ходил по окопам, несмотря на плохое здоровье и слабые ноги, но боевых качеств—молодечества, лихости, энергии у него не было и показать товар лицом он тоже никогда не умел и потому карьеры не сделал и даже не получил Георгия, хотя и был представлен к этому ордену за несомненные заслуги.

Во время пребывания Александры Андреевны в Петергофе Саша подробно сообщал матери обо всех известиях, получаемых от жены. Любовь Дмитриевна была очень занята, особенно первое время и потому писала редко. В конце сентября Саша пишет:

«Мама, сегодня я , наконец, получил письмо от Любы. Она с трудом нашла свободный час, чтобы написать. Она сидит, отрезанная от всего мира, в большой палате, устроенной ею самой. Из 25 кроватей—двадцать три заняты ранеными. Устраивать было трудно, потому что здание было страшно грязное: сначала кадетский дортуар*) потом — стояли войска, потом — австрийский госпиталь, потом — русский госпиталь с монахами и, наконец, их госпиталь. В коридорах в грязи лежали 200 раненых, которых несколько дней с 6 утра до 11 вечера мыли и переносили в палаты. Обед — полчаса, и чай—10 минут, а потом сестры засыпают, как убитые. Теперь у Любы кровати чистые, и все перевязаны. Очень тяжелых дают более опытным сестрам. Однако, одному из Любиных отрезали ногу, на другой день он уже хо-

*) Это было помещеніе Кадетскаго Корпуса. Прим. М. Б.

хотал над какой то шуткой... Люба ничего не знает о войне, только с утра до вечера делает все, что нужно, для раненых». В конце письма приписка: «Вчера вечером у меня был Пяст, а сегодня, обедали вчетвером: я, Мейерхольд и две собаки Madame Сувориной, очень хорошо воспитанные, породы Loup. Кушали».

Саша несколько раз побывал у матери в Петергофе, хотя и был очень занят в то время. Вскоре по приезде из Шахматова он начал работать над собранием стихов Аполлона Григорьева, которое должно было выйти с его примечаниями и вступительной статьей. Для этого он ходил в библиотеку Академии Наук и в Публичную библиотеку, где разыскивал стихи Ап. Григорьева и собирал матерьялы для статьи и примечаний. Работа эта ему очень нравилась: «я каждый день занимаюсь подолгу в Академии Наук, а иногда еще и дома,—пишет он матери,—потому чувствую себя гораздо уравновешеннее». За работой проводил он часов пять в день.

Вернувшись из Петергофа, сестра продолжала заниматься переводом писем Флобера, держала корректуру «Тропинки» — и поджидала, не придет ли Саша. Он приходил довольно часто, но ненадолго— или к обеду, или среди дня, когда мать пила чай. Просидев часа два, три, он уходил, внезапно поднявшись с места, с короткой фразой: «Ну, я пойду». Заходил он и к вечернему чаю. Иногда в таких случаях появлялась Л. А. Дельмас, принося с собой праздничную атмосферу и запах свежих и тонких духов.

В этом сезоне Александр Александрович много и плодотворно работал, имея дело с разными издателями. Продолжая посещать издательство «Сирин», в работе которого он принимал живое участие, он устроил мимоходом дела Андрея Белого, который жил в то время в Швейцарском городке Дорнахе, где строился знаменитый Иоанновский храм под наблюдением доктора Штейнера. Александр Александрович знал, что Борис Николаевич в очень стесненном положении. Он подал Терещенко мысль сделать отдельную книгу из его романа «Петербург», напечатанного в альманахах «Сирина», что и было исполнено. Гонорар, полученный за эту книгу дал возможность Борису Николаевичу пополнить свои средства и погасить ту ссуду, которой помог ему Александр Александрович в то время, когда тот писал свой роман. В 1915 году «Сирин» прекратил свое существование, так как Терещенко не находил возможным продолжать это дело в военное время. Он обратил свою энергию на нужды войны, предоставив в распоряжение военных организаций несколько грандиозных сооружений.

Зимой 1915 года Александр Александрович написал статью об Аполлоне Григорьеве и продолжал заниматься в библиотеках, собирая матерьялы, но уже менее пристально, так как многое было сделано. Еще осенью начал он писать поэму «Соловьиный сад». В этой поэме есть отзвуки последнего заграничного путешествия. В Гетари была вилла, с ограды которой свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили

мимо нее и видели на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом.

Среди зимы приезжал на короткое время в Петербург Франц Феликсович. Любовь Дмитриевна вернулась из Львова в мае 1915 года. Летом она играла в труппе Зонова в Куоккале.

В этом году Саша оставался в Петербурге до конца июня. Он держал корректуру статьи об Аполлоне Григорьеве, заканчивал работу в библиотеках и писал автобиографический очерк, заказанный ему Венгеровым для редактируемой им «Русской Литературы XX века». Эта статья была лишь дополненьем того, что печаталось прежде в сборнике Фидлера. В конце мая Александр Александрович узнал, что «Роза и Крест» пропущена цензурой без всяких ограничений. Около этого времени он сообщал матери, что написал краткие сведения о «Розе и Кресте» для композитора Базилевского, который написал музыку на его драму и собирался исполнять ее в Москве. Сведения нужны были для концертной программы. Тут же Александр Александрович прибавляет: «Базилевский пишет, что Свободный театр думает о постановке «Розы и Креста». А. Н. Чеботаревская сообщила, что Немирович-Данченко тоже «думает» и сказал кому то об этом.

Таким черепашьим шагом шло дело с постановкой «Розы и Креста», так и не доведенное до конца.

Описывая, как он проводит время, Александр Александрович писал матери 13-го июня:

«Я проехал как то вверх по Неве на пароходе и убедился, что Петербург собственно только в центре немецко-ж...; окраины очень грандиозные и русские — по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной. За Смольным начинаются необзоримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы, и буксиры с именами «Пророк», «Воля» режут большие волны. Нева синяя и широкая, ветер, радуга.

Сочиняю автобиографию и повадился ходить к букинисту, у которого покупаю десятки интересных книг по пятаку. Вчера встретил С. М. З. (сенатор и цыганист, друг художественного театра), который, приводив Книппер, шатался без дела. Я его завез к себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нарисовал меня (совсем непохоже) и рассказал анекдот о том, как К. Р. просил его раз прочесть мои стихи. Он прочел «Незнакомку»*), К. Р. возмутился, когда же он прочел «Озарены церковные ступени» К. Р. нашел, что это лучше. Очевидно, уловил родственное, немецкое».

Саша оставался в Петербурге весь май и июнь. В Шахматове никакой большой литературной работы у него не было. Он много гулял и работал в саду, делая новые вырубки и посадки и наблюдая за работой земляника, который делал в саду перед домом насыпь, предназначавшуюся для новых цветников.

---

*) „Знает ее наизусть, потому что в Царском жила „одна женщина". Прим. Блока.

В конце лета приезжала на неделю Л. А. Дельмас, она пела нам, аккомпанируя себе на нашем старом piano carré, напоминавшем клавесин — и из «Кармен», и из «Хованщины», и просто цыганские и другие романсы. Между прочим, и «Стеньку Разина»: «Из-за острова на стрежню». Необыкновенно хорошо выходил у нее великолепный романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Такого проникновенного исполнения этой вещи я никогда не слыхала. Саша особенно любил и эти стихи Пушкина, и музыку Бородина. Во время пребывания Дельмас погода была все время хорошая. Они с Сашей много гуляли, разводили костер под шахматовским садом (одно из любимейших занятий Саши).

Все мы с волнением читали газеты, следя за войной. Франц Феликсович писал довольно часто, его здоровье поправилось от постоянного пребывания на воздухе в хорошем климате, и он ни разу не был ранен, хотя ему случалось быть в очень опасном положении и на виду, так, что рядом с ним падали люди и лошади.

По возвращении в Петербург Александр Александрович получил очень интересный заказ от Горького, который собирался издавать сборники литературы всех народов, входивших в состав Русской Империи. Он предложил поэтам выбрать для перевода то, что им нравится. Саша взялся переводить армянских, латышских и финских поэтов. Для этого он просил Горького познакомить его или с поэтами или с другими знатоками языков избран-

ных им народностей. У него перебывали представители четырех наций, в том числе и шведской, так как один из финов писал по шведски. Александр Александрович не удовлетворился одним подстрочником, он просил читать стихи вслух, чтобы запомнить их ритмы. При этом он выказал поразительную память, запомнив не только ритм, но и целые строфы стихов на совершенно незнакомых ему языках. Ему очень нравилось декламировать их нам с матерью. Переводами этими он увлекался. Все они хороши, но лучше всего удались ему переводы прекрасных стихов армянского поэта Исакьяна. Когда вышел армянский сборник (май 1916 года), Александр Александрович получил из Москвы телеграмму от кружка армян, которые благодарили его за перевод и выражали ему свою горячую симпатию.

В этом сезоне Александру Александровичу пришлось с'ездить в Москву. Слухи о том, что Немирович-Данченко «думает» ставить «Розу и Крест» оказались верными. Художественный театр известил об этом Александра Александровича и пригласил его в Москву для первых работ по постановке пьесы. Это было в конце марта. Москвичи обласкали Сашу. Он провел в Москве приятнейшую неделю, во время которой было сделано очень много, а между тем он и развлекся, и освежился. В письме от 31-го марта он пишет:

«Мама, я так занят, что только теперь собрался написать. Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый

день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в шестом часу. Пока говорю, главным образом, я; читаю пьесу и об'ясняю. Еще говорит Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы. Роли несколько изменены. Качалов захотел играть Бертрана*), а Гаэтана будет играть актер, которого я видел Мефистофелем в Гётевском «Фаусте» (у Незлобина) — хороший актер. Графа — вероятно Массалитинов. За Качалова мало боюсь, он делает очень тонкие замечания, немного боюсь за Алису — слишком молодая и тонкая, может быть, переменим (Вишневский справедливо заметил, что для нее нужны «формочки»). Алискан — Берсенев, думаю, будет хороший. У Станиславского какие то сложные планы постановки, которые будем пробовать... Волнует меня вопрос, повидимому, уже решенный: о Гзовской и Германовой. Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Кроме того я в нее никак не могу влюбиться. Германову же я вчера смотрел в пьесе Мережковского**) и стал уже влюбляться по своему обычаю, в антракте столкнулся с ней около уборной, она жалеет, что не играет Изору, сказала: «Говорят, я состарилась». После этого я, разумеется, еще немного больше влюбился в нее.

*) Первоначально он взял себе роль Гаэтана. Прим. М. Б.

**) „Будет радость“ Прим. М. Б.

При этом говор у нее для Изоры невозможный (мне впрочем нравится), но за то наружность и движенья удивительны».

4-го апреля: «Работаем каждый день, я часами говорю, об'ясняю, как со своими. Разумеется, трачу всетаки много сил, но никакой надрывной усталости нет. На днях провел ночь у Качалова с цыганами и крюшоном, это было восхитительно. Бертран, Гаэтан и Алискан у меня заряжены; с Изорой проводим целые часы, сегодня, наконец, к ней пойду — опять говорить. Гзовская и умна, и талантлива, и тонка, но страшно чужая. В мае Художественный театр приезжает с четырьмя пьесами и мы все опять увидимся. Встретил я Книппер, она от Алисы уклонилась, хотя я и пробовал ей доказать, что «ваш шпиц — прелестный шпиц, не более наперстка». (Она пришла утром в театр, действительно, со шпицем). Моя Алиса по наружности более похожа на Изору (Жданова). Капеллан — Массалитинов, граф — Лужский».

Всю эту весну и лето Александр Александрович провел в Петербурге. Любовь Дмитриевна играла в группе Измайловского полка, состоявшей из освобожденных от призыва артистов. Выступала в ответственных ролях и имела успех.

Между тем война шла ускоренным темпом. Со дня на день нужно было ожидать времени, когда призовут в войско всех мужчин возраста Саши. Приходилось решать вопрос о том, в какой форме нести военную службу. Саша не был склонен сражать-

ся, тем более, что не питал никакой вражды к немцам.

В мае 1916 года Александр Александрович еще спокойно занимался своими делами в Петербурге, думая, что его призовут нескоро. Он интересовался шахматовскими делами и результатами своей работы в саду. 7-го мая пишет: «Напиши мне, очень ли редок сад, и не опустилась ли насыпь, и не проросла ли сирень от старых корней направо от балкона*) и акация, где они выкорчеваны? Принялся ли подсаженный шиповник? Как чувствуют себя Флоксы**)? Но пропал ли красный?»

11 мая: «Мама, я получил твое письмо и захотел в Шахматово; но, с другой стороны, я, как будто, начинаю писать. Боюсь сказать». 4 июня он пишет: «Мама, сейчас, наконец, окончена мною «Первая глава» поэмы «Возмездие». С «Прологом» она составляет 1019 стихов. Если принять во внимание статистику поэм, написанных четырехстопным ямбом, то выходит: у Лермонтова: обе части «Демона» — 1139 стихов, «Боярин Орша» — 1066 стихов. У Баратынского «Бал» — 658 стихов, «Эдда» — 683 стиха, и только «Наложница» (Цыганка) — семь глав — 1208 стихов. Если таким образом, мне удастся написать еще 2-ю и 3-ю главы и эпилог (что требуется по плану), то это может разро-

---

*) Дело идет о группе, которую он вырубил. Прим. М. Б.

**) Многолетние флоксы, посаженные им осенью. Прим. М. Б.

стись до размеров Онегина. Каково бы ни было качество, в количестве работы я эти дни превзошел даже некоторых прилежных стихотворцев!»

16-го июня: «Мама, я не еду потому, что надеюсь, (может быть, и тщетно), еще что нибудь написать. Глухое лето, без особых беспокойств в городе, где перед глазами пестрит, но ничего по настоящему не принимаешь к сердцу, — кажется, единственное условие, при котором я могу по настоящему работать (так было когда то с «Вольными мыслями», потом с «Розой и Крестом», теперь — с поэмой). Мне очень печально и неудобно, что это так, но для изменения этих условий надо ждать старости, (должно быть, ждать больше нечего). Между прочим, у меня на виске есть наконец седой волос, он уже, кажется, год, или больше, но Люба признала его только теперь. Однако, мне еще можно сказать, как дон Карлос сказал Лауре: «Ты молода, и будешь молода еще лет пять иль шесть».

Ранней весной этого года (1916) печатались в «Мусагете» «Стихотворения Блока в трех книгах» и «Театр» — «Балаганчик», «Король на площадь», «Незнакомка» и «Роза и Крест». Мимоходом Саша сообщает матери: «На мои книги большой спрос, присланные из Москвы партии распродаются складом в несколько часов, так что у меня до сих пор нет авторских экземпляров». И в другом письме: «Мои книжные дела блестящи — «Театра» в две недели распродано около 2000, и мы приступили уже к новому изданию».

В мае произошло одно событие, приятно волновавшее Сашу: женился Е. П. Иванов. 23 мая Саша пишет: «Мама, я сейчас обвенчал Женю. — Свадьба была простая, благообразная и при солнечном свете, священник показался мне очень милым. Женя был причесан гладко и стоял прямо; невеста была в белом платье, хотя и без фаты. Жениными шаферами были я и Пяст, а у невесты — Александр Павлович и Женин сослуживец». Роман Е. П. был необычайный, и все его подробности, приведшие к свадьбе, были хорошо известны Саше и составляли предмет его забот и внимания.

В том же письме он сообщает новости, касающиеся «Розы и Креста»: «Лужский написал, что мне до осени приезжать, очевидно, не придется. Покажут они, что сделали только своему начальству. Музыку Базилевского забраковали (опера и модерн, писала Гзовская), Яновский скоро представит, но скорее всего будет Василенко. Декорации будет, вероятно, отчасти делать Добужинский и театральные художники. Гзовская пишет, что ей очень трудно, но она кое что сделала».

Саша два раза ходил смотреть игру Гзовской в кинематографе и по этому поводу пишет: «Я убеждаюсь, что Станиславский глубоко прав; она — так называемая, «характерная» актриса, и в этом направлении можно сделать очень много. Поэтому, я надеюсь придать Изоре на сцене Художественного

театра очень желательные для меня «простонародные черты».

В одном из июньских писем еще до призыва есть чрезвычайно интересный и характерный для Алексадра Александровича отзыв о книге «Добротолюбие». Я привожу его целиком:

«Я достал первый том того «Добротолюбия»—«Filokolia» — любовь к прекрасному (высокому), о которой говорила О. Форш. Это, собственно, сокращенная патрология — сочинения разных отцов церкви, подвижников и монахов (пять огромных томов). Переводы с греческого не всегда удовлетворительны, «дополненные» попами, уснащенные церковно-славянскими текстами из книг Св. Писания В. и Н. Завета (неизменно неубедительными для меня). Все это отрицательные стороны. Тем не менее, в сочинениях монаха Евагрия (IV века), которые я прочел, есть гениальные вещи. Он был человеком очень страстным, и православные переводчики как ни старались, не могли уничтожить того действительного реализма, который роднит его, например, со Стриндбергом. Таковы, главным образом, главы о борьбе с бесами — очень простые и полезные наблюдения, часто известные, разумеется, и художникам того типа, к которому принадлежу и я. Выводы его часто неожиданны и (именно по художнически) скромны; таких человеческих выводов я никогда не встречал у «святых», натерпевшись достаточно от жестокой и бешеной новозаветной «мета-

физики»*), которые людей полнокровных (вроде нас с тобой) запугивают и отвращают от себя.

Мне лично занятно, что отношение Еваргия к демонам точно таково же, каково мое — к двойникам, например, в статье «О символизме. Вечный монашеский прием, как известно — толковать тексты Св. Писания, опираясь на свой личный опыт. У меня очень странное впечатление от этого: тексты все до одного остаются мертвыми, а опыт — живой».

Это последнее спокойное письмо. Затем начинаются слухи о близком призыве, хлопоты о том, куда поступить, и т. д. Саша заранее обеспечил себе возможность поступить вольноопределяющимся в разные полки. Всего желательнее казалось ему служить в артиллерийском дивизионе под начальством родственника М. Т. Блок (вдовы Александра Львовича): «Во всяком случае надо приготовиться к осени, — пишет он матери 25 июня, — и я думаю теперь же сделать платье и купить все, что нужно, чтобы можно было во время ехать в дивизион». В этом же письме сообщается: «вчера было очень весело — у нас обедали Княжнин и Верховский». И далее: «Я все еще не могу решиться ехать в Шахматово. Пока еще есть разные дела (кроме возможности писать, повидимому, проблематической)».

Между делом Александр Александрович усиленно хлопотал о том, чтобы освободить от призыва Княж-

*) В смысле „сверхестественности" — наперекор естеству. Прим. А. Блока.

нина, пристроив его на заводе. В конце концов это ему не удалось, помнится, он устроил это дело как то иначе. Поговорив с неким вольноопределяющимся и узнав все условия службы, Саша пишет: «Из подробных его рассказов я увидел, что я туда не пойду. Таким образом, это отпадает, что предпринять, я не знаю; знаю одно, что переменить штатское состояние на военное едва ли в моих силах... Сегодня пойду в В. Л. Зоргенфрею, который может что то мне посоветовать. Писать (поэму), повидимому, больше на удастся».

После всех волнений и попыток устроиться еще в каких-то полках — дело разрешилось внезапно и неожиданно. 7 июля Саша пишет: «Мама, пишу кратко пока, потому что сегодня очень устал от массы сделанных дел. Сегодня я, как ты знаешь, призван. Вместе с тем, я уже сегодня зачислен в организацию Земских и Городских Союзов: звание мое — «табельщик 13-й строительной дружины», которая устраивает укрепления, обязанности — приблизительно — учет работ чернорабочих: форма — почти офицерская с кортиком, на днях надену ее. От призыва я тем самым освобожден; буду на офицерском положении и вблизи фронта, то и другое мне пока приятно. Устроил Зоргенфрей. Начальник дружины меня знает. Сам он — архитектор. Получу бесплатный проезд во втором классе, жалованье—около 50 рублей в месяц. Здесь—жара страшная, но я пока в деятельном настроении. Дела

очень много, так что забываешь многое, что было бы при других условиях трудно».

В таком возбужденном настроении Александр Александрович пребывал до самого от'езда. Между делом он видится с друзьями, много гуляет, интересуется спектаклями, в которых играет Любовь Дмитриевна. ...«Чувствую себя очень бодро. Сегодня разговаривал с начальством и получил под'емные деньги,»—пишет он матери. — Очень занят он новой формой, надев которую, заслужил всеобщее одобрение: она к нему очень шла. В Шахматово он с'ездил только на один день. Александра Андреевна сама приехала в Петербург после 8 июля, но незадолго до от'езда сына уехала в Шахматово, не желая разбивать его бодрого настроения своей тревогой и беспокойством, которое, разумеется, ее грызло. Она боялась и климата пинских болот, и близости фронта тем более, что хорошо знала склонность Александра Александровича играть опасностью, испытывая судьбу.

Последнее письмо Саши из Петербурга от 24 июля: «Мама, у меня уже почти все готово к от'езду, провожать меня захотели почему то Соловьев и Ангелина. Л. А. здесь. Я предлагаю ей с'ездить в Шахматово».

Приписка 25 июля:

«Все сделал и приготовил к от'езду. Господь с тобой, мама. Саша».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После от'езда Александра Александровича Л. А. Дельмас приехала на несколько дней в Шахматово, чтобы успокоить и оживить Сашину мать. Этот приезд был как нельзя более кстати. Сестра слегла в постель от тревоги и горя. Все это было нервное, и я не знала, что предпринять. Л. А. привезла Сашино письмо, а главное рассказала о том, как бодро он уезжал, и приласкала измученную мать, вдохнув в нее бодрость и новые силы. Александра Андреевна быстро поправилась и вскоре встала с постели и принялась за дело. Через несколько дней пришло первое коротенькое письмо Саши с дороги, затем уже настоящее с места от 2 августа:

«Мама, я, вероятно, не буду писать особенно часто... Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно, почти ничего еще не делаю. Жить со всеми и т. д. я уже привык, так что страдаю пока только от блох и скуки. Теперь мы живем в большом именьи и некоторые (я в том числе) в княжеском доме. Блох, кажется, изведем. К массе новых впечатлений и новых людей я привык в два дня так, как будто живу здесь месяц. Вообще, я более, чем когда нибудь вижу, что нового в человеческих отношениях и пр. никогда ничего не бывает. Я очень соскучился по тебе, Любе, Шахматове, квартире и т. д. Лунные ночи олеографические.

Люди есть интересные. Княжеская такса Фока и полицейская собака Фрина гуляют вместе».

7 августа 1916 года: «Я здесь поправляюсь, загорел, ем много, купаюсь, проехал верхом верст двадцать и в грузовом автомобиле верст 80. Как только останавливаюсь, скучаю. От лошади я совсем не отвык, устаю мало, хотя часы проводил на солнце в жару градусов 35».

В следующем письме от 11 августа сообщается о переезде с большой компанией из Штаба в отряд, где будет дело. В длиннейшем письме, которое писалось несколько воскресений подряд и послано было с оказией, Саша пишет:

«Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работы довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы и в окопы, в поле и на рубку кольев в лес Возвращаюсь только к часу, к обеду, потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и пр.». Далее сообщается, что устроились очень уютно — в трех комнатах (в избе), в каждой по три человека. «На дворе огромная свинья с поросятами. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард, повар готовит очень вкусно и довольно разнообразно, обедаем все вместе. Живем мы все очень дружно. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами. По обыкновению возникают разные «трения». Пол деревни заселено нашими 300 рабочими — туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалин-

цы с каторги, москвичи (всех хуже и нахальнее), петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах. Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье — два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и пр. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет; вокруг него шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулемет щелкает. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые и патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, — приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а по середине поменьше — семинария. Телефон обыкновенно испорчен, вероятно, мальчики на нем качаются».

Воскресенье 28 августа: «Рабочих прибавилось, пришла большая партия сартов, армян и татар в пестрых костюмах; они живут отдельно, у них своя кухня и они во всем отличаются от русских — не в пользу последних (стройные, чистые, спокойные, красивые, великолепно работают). Теперь уже нас более 400 человек. Я ездил с визитом к военным (саперам) с начальником отряда, приезжал начальник дружины с женой, было много лошадиных, аэропланных, кухонных, телефонных и окопных интересов. Мы строим очень длинную позицию в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, наколачиваем проволоку, расчищаем обстрел,

ведем ход сообщения — в поле, в лесу, на болоте, на вырубках, вдоль деревень. Вероятно, будем и обшивать деревом и пр. Мы живем дружно, очень много хохочем. Понемногу у нас становится много общего: конфекты и папиросы, которые мы покупаем в лавках в более или менее далеких деревнях, сапожные щетки, вакса, иногда кровати, мыло. Я ко всему этому привык и мне это даже нравится. Я могу заснуть, когда разговаривают громко пять человек, могу не умываться, долго быть без чаю, скакать утром в карьер, писать пропуски рабочим, едва встав с кровати».

4 сентября: «Опять воскресенье, все уехали, единственный день, когда я могу сколько нибудь отвлечься от отряда и написать письмо. Тебе его передаст на днях К. А. Глинка, очень милый, смелый и честный мальчик (табельщик), потомок композитора... Если хочешь, пришли чего нибудь вкусного вместе с Любой — немного, чтобы Глинке было не тяжело везти — для всех нас. Как твое здоровье? Я часто думаю о нем... Я озверел, пол дня с лошадью по лесам, полям и болотам раз'езжаю, почти не умытый; потом выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но, когда это прекратится, все покажется сном»*).

*) Это письмо привез Александр Александрович, один из товарищей Саши — Идельсон, интеллигентный человек, юрист по образованию.

В октябре Александр Александрович получил месячный отпуск и с'ездил в Петербург. Любовь Дмитриевна еще осенью уехала в Оренбург, где играла весь зимний сезон в труппе антрепренерши Малиновской. На пустой Блоковской квартире жила я со своей Аннушкой и Пушком.* Отпуск прошел как-то незаметно и Ал. Ал. вернулся на Пинские болота к сроку. Еще до от'езда в отпуск он перешел обратно в штаб. Были слухи о каких то переменах, но оказались ложными. 7 ноября Саша пишет матери из штаба: «Мама, мы сидим с Идельсоном у камина после «трудового дня». В доме осталось всего 8 человек, а в команде нас всего 3. Тепло, мягкий снег, время пошло тише. Ничего не произошло существенного, никуда мы не едем, все по старому, только зима. Дни были холодные, но мне тепло в фуфайке и двух одеждах сверху (китель и теплый пиджак на вате на улице). Скучно. Мне стало после поездки здесь как то труднее, я еще не забыл многого, потом зима и лошади нет. Я назначен «заведующим отделом» с 1 ноября».

21 ноября: «Жизнь штабная продолжает быть нелепой. Сегодня, впрочем, я чувствую себя лучше, вероятно потому, что вчера проехал верст 10 на хорошей лошади. Княгиня заказывает нашей компании ужины, от которых можно издохнуть: хороший повар, индюшки, какие то фарши, вчера я едва дышал. Я получил очень длинное письмо от Немировича, где он описывает все работы. Пишет, что меня не

*) Пушек — собака. Прим. М. Б.

понадобится по крайней мере месяц (от 1 ноября). Алису играет Лилина. Он боится за Гаэтана, Алискана и некоторых других. Очень увлечен. Музыка едва ли будет Рахманинова, он занят, Метнера тоже еще, кажется, не уговорили*). Обязанности начальника дружины временно исполняет Лукашевич, мы с ним в лучших отношениях, я уже воспользовался этим, чтобы повысить плату одному рабочему».

27 ноября: «Мама, жить здесь стало гораздо хуже, чем было летом и гораздо более одиноко, потому что все окружающие ссорятся, а по вечерам слишком часто происходят ужины «старших чинов штаба» и бессмысленное сидение их (и мое в том числе) в гостиной. От этого все «низшие чины» начинают коситься на нас и образуются партии. Положительные стороны для меня: довольно много работы в последние дни, тревожные газеты, которые я теперь всегда читаю, сильный ветер. Сейчас кроме того, горят на востоке не то леса, не то болота, зарево в полнеба, колонны дома розовые, (вечер) и рядом с заревом встает луна».

Следующая открытка от 2 декабря касается поэмы «Возмездие». Александра Андреевна вела переговоры со Струве о напечатании первой главы с прологом в Русской Мысли и спрашивала Александра Александровича, можно ли заменить имя Анны Павловны Вревской Ольгой Павловной.

*) Всех прежних композиторов забраковали. Прим. М. Б.

7 декабря он пишет: «Мама, вероятно, ты не получила открытку, в которой написано, что Ольга Павловна вполне допустима. Вообще известие о том, что поэма пошла, мне приятно. Пишу я не часто, очень трудно выбрать время, к сожалению, не потому, что много дела, а потому, что жизнь складывается глупо, неприятно, нелепо и некрасиво. Редкие дни бывает хорошо, все остальные — бестолково, противоречиво и мелочно. Удовольствие мне доставляют твои довольно редкие письма и редкие минуты, когда я остаюсь один (например, вчера к вечеру, в поле, на лошади)». «О XIX веке я все-таки не меняю мнения, да и сейчас чувствую его на собственной шкуре. Есть и интересные, есть и семи пядей во лбу, в одном только все сходны: не чувствуют уродства — своего и чужого, таковы и эстеты, и неэстеты, и «красивые», и некрасивые».

15 декабря: «Не пишу, кажется, давно, потому что у меня исключительно много работы (Идельсон болен инфлуэнцией, я заведую партией вместо него. Сижу в конторе с утра часов до семи, а потом начинается ужин, шахматы и пр. Работа бывает трудная, но она скрашивает до некоторой степени то, о чем я тебе писал. В отпуск я не поеду. Пока конца нет, пожалуй, здесь лучше, только очень одиноко и многолюдно. Я просто немного устал. Очень много приходится ругаться. Природа удивительна: сейчас мягкий и довольно глубокий снег и месяц. На деревьях и кустах снег. Это мне помогает ежедневно. Остальное все кинематограф, непрестанное

миганье, утомительное «разнообразие». В конце письма приписка: «За переговоры со Струве я тебя очень благодарю, результату их очень рад».*)

В коротком письме от 18 декабря говорится о длинной поездке в город Луненец на автомобиле: «Я чувствую себя хорошо. Сегодня ночью горел лесопильный завод у нас, а сегодня — на автомобиле — все это развлечения...» — 27 декабря: «Кроме дела начались праздники и все мы находимся в вихре светских удовольствий, что пока приятно, а иногда очень весело. К сожалению, все вечно болеют и валяются в кроватях. Я чувствую себя очень хорошо...»

1 января 1917 года: «Мама, вчера я получил твое письмо и Любино, третьего дня тетино. Все письма невеселые для меня. Вообще ужасно тревожно и мрачно было вчера к вечеру, так что я склонял всех вместе встретить год. Действительно, уж мы его встретили, встречали сегодня до восьми часов утра и мрачное прошло, но сейчас уж опять беспокойно. Я очень беспокоюсь о тебе, также о Любе. Пиши мне чаще (или тетя) о твоем здоровьи. Мне вообще здесь трудно, и должность собачья, и надоело порядочно, а без писем особенно трудно».

Саше не даром было так тревожно и мрачно перед Новым Годом. Ухудшение нервной болезни его матери, которое началось еще с лета, дошло до апогея. Перед самым Новым Годом я советывалась с

**) „Возмездие“ было напечатано в январской книжке „Р. М.“ 1917 г. Прим. М. Б.

доктором психиатром, которого пригласила потом к сестре. Он настаивал на санатории. Собрав нужные сведения, решили вести ее в чеховскую санаторию около станции Крюково Николаевской ж. д.

7 января 1917 года Саша пишет: «Мама, эти дни я получил письма твои и тетины — о болезни, о докторе, о санатории. Да, я думаю, что в санаторию тебе хорошо поехать, и что, может быть, в Крюкове хорошо. Главное, что за этим может последовать облегчение, хотя бы некоторое; если это совпадет с поумнением всего человечества (на что надежды мало, по крайней мере, сейчас), можно будет подумать, наконец, о жизни — и для тебя, и для меня. События окончательно потеряли смысл, а со смыслом и интерес. Может быть, я тоже устал нервно, к тому же немного болен, сижу в комнате дня три (бронхит и осип), так, что говорю шопотом, раскашлял и разругал горло».

8 января к вечеру: «Мама, сегодня я чувствую себя гораздо лучше и почему-то веселее. Может быть, потому, что я сидел весь день за работой почти один. Бронхит проходит, я все время принимаю лекарство, сделанное для меня зем. врачихой, посещающей меня (прикомандирована к нам). Очень хорошее средство».

В следующем письме Саша уговаривает мать скорее ехать в санаторию и выражает сожаление, что разные экстренные дела и неприятности по службе задерживают его отпуск и не дают ему возможности увидеться с матерью перед ее от'ездом в са-

наторию. «Господь с тобой, — пишет он в конце письма, — не думай о мелочах, представляй себе все в гораздо более крупных (нелепо крупных) масштабах — это символ нашего времени».

Комнату в санатории «Крюково» наняла сестра Соф. Андр. Отвез Ал. Андр. Фр. Фел., который нарочно приехал для этого в отпуск. Сестра уехала в начале января. На первое письмо матери из санатории Ал. Ал. ответил 14 февраля 1917 года. Он успокаивает ее относительно тех неприятностей, которые у него были: «Все, повидимому, обойдется. За то теперь пришли военные и выставили нас почти из всех помещений, в том числе из княжеского дома. Сейчас мы ютимся пока в конторах... Пахнет весной уже два дня. Масляницу мы с Надеждиным* заканчивали в трех отрядах, ели отчаянно много, гораздо больше, чем пили, ночевали на чужих кроватях и без конца ездили на лошадях по снежным лесам и равнинам. Это последнее для меня всегда очень освежительно, но мне сравнительно редко удается это делать, потому что я фактически давно уже почти всегда заведую партией, тщетно мечтая о своем запущенном отделе. Я бы хотел, если все уладится, с'ездить в отпуск, — в Петербург и в Крюково, а если понадобится, и в Москву».

21 февраля: «Мне скверно главным образом потому, что страшно надоело все, хотелось бы, наконец, жить, а не существовать, и заняться делом... Писать трудно, потому что кругом орет человек

*) Один из товарищей по службе. Прим. М. Б.

двадцать, прибивают брезент, играют в шахматы, говорят по телефону, топят печку, играют на мандолине — и все это одновременно (а время дня «рабочее»!)».

24 февраля: «Наш барак стоит в открытом поле; потому приятно смотреть в окно во все часы. Поле покрыто глубоким снегом, идет вверх, на близком горизонте кучки деревьев (сосны). Это те песчаные бугры, с которых летом иногда можно видеть Пинск. Туда уходит дорога с военным телеграфом, который поет от ветра, там идут длинные обозы без конца уже много дней. Барак разделен на чуланы. Мы живем с Идельсоном, Харузинским (заведующий телефоном) и дежурным телефонистом. В 8 часов утра начинается гвалт, потому что все вокруг встают. Приносят чай, умыванье, все бреются и долго валандаются. Обедать и ужинать (час и восемь часов) ходят в дом священника в деревню, а среди дня пьем чай, где придется. В нашем чулане (всего аршина четыре в ширину и аршин семь в длину) процветают шахматы, все приходят играть. На потолке украшения — сосновые ветки».

Первое марта: «Здесь все по прежнему — надоело все всем. Единственное, что меня занимает, кроме лошади и шахмат, — мысль об отпуске, который я оттягиваю, отчасти из за того, чтобы его лучше использовать (увидеть Любу), которая, кажется, опять уехала в Москву. Несмотря на то, что это болото забыто не только немцами, но и Богом, здесь удивительный воздух, настоящие перемены

ветра, глубокий снег, ночью огни в деревенских окнах, все это — как всегда — настоящее. Сегодня ночью, например, мы услыхали, что на фронте началась частая стрельба, заработали прожекторы и ракеты, горизонт осветился вспышками; мы сели на лошадей и поехали на холмы к фронту; пока ехали, разумеется, все прекратилось, но ехать было очень приятно и интересно. Ночь темная, тропинки в снегу, встречные деревья и кусты принимаешь за сани, кажется, что они движутся, остовы мельниц с поломанными крыльями, сильный ветер. Мне прислали, наконец, ту лошадь, на которой я ездил в первом отряде, очень ее люблю, у нее английская головка».

9 марта вечером: «Мама, я собрался после 15-го в отпуск и увижу тебя. С большой тревогой жду телеграммы в ответ на мои, посланные третьего дня утром — тебе и тете. Природа участвует в происходящем. Она необыкновенно ярка и разноообразна. Если бы я получил успокоительные телеграммы, мне было бы очень хорошо теперь, несмотря на то, что наш фронт захудалый и Эверт относится к происходящему хуже всех, что отражается на окружающих. Мы с Идельсоном послали приветственные телеграммы: он — товарищу министра юстиции, я — министру финансов. Только бы получить телеграммы, повторяю это трижды в каждом письме, потому что это все, что мне сейчас надо. Господь с тобой».

Саша беспокоился обо всех нас, не зная, каково настроение толпы и не случится ли чего нибудь неприятного. Следующее письмо уже из Петербурга.

19 марта вечером: «Мама, сегодня приехал я в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали, рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России. Минута, разумеется, очень опасная, но опасность, если она и предстоит, освящена, чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка). Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует». Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость... Думаю с'ездить к тебе, вообще могу пользоваться отпуском месяц».

23 марта: «Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развитую мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое. Минуты для страны, для государства, для всяких «собственностей» опасные, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно. Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами. Зимний дворец с красным флагом на крыше. Сгорели до тла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, сгорела. Ходишь по городу, как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую то старуху с костылями (полагаю, Вырубову — в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо, и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парией, как привык чувство-

вать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверх'естественное, восхитительное... Решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы Фоминой, но я бы охотно не возвращался в дружину, если бы нашел здесь подходящее дело. Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно. Сейчас мне позвонил Идельсон. Оказывается, он через день после меня совсем уехал из дружины; получил вызов от Муравьева и назначен секретарем Верховной Следственной Комиссии. Будут заседать в Зимнем Дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем Дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) — вся Литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускали в могилу на Марсовом поле, производят салют в крепости (путем нажатия электрической кнопки). Сейчас пойду на улицу смотреть, как расходятся».

30 марта: «Мама, вчера я записал себе билет на 9 апреля и надеюсь приехать к тебе 10. Люба приехала давно и живет здесь. Немирович-Данченко прислал телеграмму, приглашает меня в половине Фоминой недели. От тебя я поеду к ним, хотя время совпадает с окончанием моего отпуска. Это не осо-

бенно приятно, потому что своим отпуском я до некоторой степени подвожу других».

Со свойственной ему скромностью, Ал. Ал. пишет: «Не думаю, чтобы я был годен вообще на какую нибудь службу...» и далее: «Я одичал, отвык, как следует, думать». и т. д. И работа его в дружине, и дальнейшая деятельность показали, насколько он был «годен к службе», такие добросовестные, исполнительные и талантливые работники, как он, очень редки, и потому служба его всегда и везде очень ценилась, но только ему то уж очень она была несвойственна и потому слишком дорого ему доставалась... В конце письма приписка: «Поздравляю тебя с праздником, который в первый раз будет без жандармов».

2 апреля: «Мама, в этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исаакиевскаго собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда. Порядок очень большой. Всех, кого могли, впустили в церковь, а остальные свободно толпились на площади, не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни тучи великосветских автомобилей, не дающих ходить, иллюминации почти нигде не было, с крепости был обычный салют и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов — стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах

солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные: «подонки общества»*) присмирели всюду, что радует меня даже слишком — до злорадства.

Третьего дня Немирович-Данченко пригласил нас с Добужинским обедать вместе у Донона, но самому ему неожиданно пришлось уехать... Так что мы с Добужинским очутились у Донона вдвоем. Туда же зашли случайно из Зимнего Дворца Ал. Бенуа и Грабарь, и мы очень мило пообедали вчетвером; сзади нас сидел Великий Князь Николай Михаилович — одиноко за столом (бывший человек: он давно мечтал об участии в революции и был замешан в убийстве Распутина). Подошел к нему молодой паж (тоже «бывший», а ныне — «воспитанник школы для сирот павших воинов»)... Все, с кем говоришь и видишься, по разному озабочены событиями, так что воспринимаю их безоблачно только я один, вышвырнутый из жизни войной. Когда приглядишься, вероятно, над многим придется призадуматься.

Сегодня яркий весенний день. У меня стоит корзина мелких красных роз от Любовь Александровны... Сейчас принесли мне большую корзину ландышей — неизвестно откуда».

---

*) Это Сашино выражение знали только самые близкие люди, он называл „подонками общества“ то, что принято было обыкновенно называть „сливками общества“: преимущественно богатую буржуазию, золотую молодежь и пр. Прим. М. Б.

Саша приехал к матери всего на несколько дней. Для нее, разумеется, это было праздником. В санатории она до некоторой степени поправилась, революцию переживала с радостным и умиленным волнением. Между прочим познакомилась с К. С. Станиславским и Лилиной, которые подолгу жили в санатории, где лечился их сын. С К. С. встретился и Саша. 15 апреля он пишет уже из Москвы:

«Мама, 13-го я прослушал в театре весь 1-ый акт и 2 картины II. Все за исключением частностей совершенно верно, и все волнуются (хороший признак). Вишневскому надо дать взамен несколько новых слов, Массалитинову надо еще разростись, Качалов превосходен, Лужский на верном пути, Гзовская показала только бледный рисунок, паж и Алиса оставляют желать лучшего.

... Вчера утром меня вызвал Терещенко. Мы завтракали с ним в «Праге». Он такой же милый, как был, без голоса, говорит, что читает только мои стихи, просит позвонить к нему в Петербурге... Смотрел полтора акта «У царских врат» (Х. Т.). Какая Лилина тонкая актриса! В театре все время заседают. Может уйти Немирович и почти наверное — Гзовская. Уверенности в том, что пьеса пойдет на будущий год, у меня нет». В конце письма приписка: «Все таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, — происходит в духе м о е й тревоги. Не даром же министр финансов,*

*) Терещенко. Прим. М. Б.

отправляясь на первое собрание С. Р. и С. Д., открыл наугад мою книгу и нашел слова: «Свергни, о свергни». Отчего же до сих пор никто мне еще не верит (и ты в том числе), что мировая война есть вздор (просто, полный знак равенства, или еще «немецкая пошлость»). Когда нибудь это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре».

17 апреля:... «Гзовская почти наверное уходит; что тогда будет с пьесой, не знаю. Отчасти я рад тому, что мой нынешний приезд оказался, в сущности, напрасным, потому что меня все еще почти нет, я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит. В театре, кажется, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты «политикой». Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть, справедливым, за «гуманизм» прошлого века. За уродливое пристрастие к «малым делам» история мстит нагромождением событий и фактов, безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, т. е. бессмысленно... В сущности, действительно очень большой художник — только Станиславский, он действительно любит искусство, потому что сам искусство. Между прочим ему «Роза и Крест» совершенно непонятна и ненужна, по моему, (хитрит с самим собой) он притворяется, хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя».

Последнее письмо из Москвы с вокзала совсем мрачное.

...«Мне нужно побыть одному и помолчать, — пишет Ал. Ал. — в Москве эти дни неприятно — отчаянный ветер и временами снег, снег, снег... Мало что трогает кроме снега. Впрочем я валандался по уборным и корридорам, говорил с разными людьми. Всем тяжело. Пусть, пусть еще повоюет Европа, несчастная, истасканная кокотка: вся мудрость мира протечет сквозь ее испачканные войной и политикой пальцы, — и придут другие, и поведут ее «куда она не хочет». Желтые что ли (?)».

19 апреля 1917. Петербург: «Мама, я приехал вчера. Ехал со всем комфортом в I классе на чистой постели, весь день говорил много и плохо по французски с французским инженером, отчего немного устал. Этот типичный буржуа увязался было со мной, но я улизнул от него и пришел пешком домой, чемодан мой донес солдатик, которого напоили и накормили. Невский без лошадей и повозок, как Венеция, был запружен народом весь, благодаря отсутствию полиции, был большой порядок, всюду говорили речи, у Александра III (Трубецкого) сначала, говорят, была в руке метла, но я ее не видел, ее уже убрали... Написал Катонину.*) Вообще, пишу письма и молчу. — А Люба уехала накануне моего от'езда».

Письмо от 25 апреля не веселее предыдущего. Сашу удручает неопределенность его положения. В

*) Начальнику дружины. Прим. М. Б.

письме есть такая фраза: «Таким образом, все, по обыкновению, без'исходно. Всего этого я от тебя не скрываю, потому что так тебе же лучше, да ты, кроме того, умна и недолго способна тешиться побрякушками политического и другого свойства...»

27 апреля Саша получил от помощника начальника дружины телеграмму: «Срочно телеграфируйте время приезда или желание быть откомандированным». Он сейчас же ответил: «Срок 15 мая, прошу откомандировать, если поздно». Таким образом он решил не возвращаться в дружину. Положение его не определилось до 8 мая.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тем временем Люб. Дм. поступила в труппу, игравшую в Пскове летний сезон. Она несколько раз приезжала оттуда к Ал. Ал. и очень звала его к себе, так как город ей особенно нравился своей художественной стариной, но Ал. Ал. туда не собрался, хотя очень этого хотел.

6 мая он пишет матери: «Я пойду к Идельсону, который сегодня звонил мне и вторично предлагал занять место редактора сырого (стенографического) матерьяла Чрезвычайной Следственной Комиссии, т. е. обрабатывать в литературной форме показания подсудимых. Так как за это платят большие деньги, работать можно, кажется, и дома (хотя работы много) я, может быть, и пойду на этот ком-

промисс, хотя времени (и главное должного состояния) для моего дела у меня, очевидно, не будет».

7 мая: Сидел у Идельсона, который осветил мне деятельность Комиссии — после чего мы с ним поехали в Зимний Дворец, где я познакомился с Председателем (Муравьевым). Кроме первого редактора (Неведомского), будутъ еще два: Л. Я. Гуревич и я. Завтра же я получу работу, которую возьму на дом и должен держать в тайне, пока результаты ее не будут известны Временному Правительству. Так как я буду иметь возможность присутствовать и на допросах (о чем уже говорил с Муравьевым), дело представляется мне пока интересным.

Мы бегло обошли Зимний Дворец, который почти весь занят солдатским лазаретом. Со стен смотрят утомительно - известные Боровиковские, вечно виденные в жизненных снах мраморы и яшмы. Версальские масштабы опять поразили меня своей ненужностью. Действительно сильное впечатление произвел на меня тронный зал, хотя материя со ступеней трона содрана и самый трон убран, потому что солдаты хотели его сломать. В этой гигантской комнате с двойным светом поразительно то, что оба ряда окон упираются в соседние стены того же дворца и все это гигантское и пышное сооружение спрятано в самой середине дворцовой громады. Здесь царь принимал первую думу, и мало ли что тут было. — Петербург сегодня очень величественен, идет снег, иногда густой, природа, как всегда, подтверждает странность положения вещей.

На днях я читал в газетах, что Морозов (П. О.), Сакулин и я выбраны в литературную комиссию, которая заменит Театр. Лит. Комитет Александринскаго театра».

8 мая: «Сегодня дважды был в Зимнем Дворце и сделался редактором. Муравьев пошлет телеграмму Ладыженскому, (т. е. главному моему начальству в Минске), а так как он на правах товарища министра юстиции, то, я надеюсь, что меня откомандируют. Не знаю, надолго ли. Попробую. Сейчас взял себе Маклакова и прошу потом Вырубову, а в пятницу хочу присутствовать на допросе Горемыкина. Жалованье мое будет 600 рублей в месяц. Сейчас читал собственноручную записку Николая II к Воейкову о том, что он требует, чтобы газеты перестали писать «о покойном Р.». Почерк довольно женский, слабый, писано в декабре. Его же телеграмма, чтобы прекратитъ дело Манасевича Мануйлова. Скучный господин».

12 мая 1917: «Мама, я уже совершенно погружон в новую деятельность, которая имеет очень много разных сторон, — во всяком случае, это очень трудно и очень ответственно, так что мозги мои напряжены до крайности. Три дня я очень усиленно работал над Маклаковым, кончил все, кроме внешней отделки. Сейчас у меня уже Вырубова. Сегодня я с утра толкался в Зимнем Дворце, где было много встреч и разговоров, а в час дня поехал с Муравьевым в автомобиле в крепость, где втечение пяти с лишним часов, с небольшим перерывом, присутство-

вал на допросе директора департамента полиции Белецкого, которого тоже возьму себе. Сообщать содержание всего этого я не имею права, но о впечатлениях говорить всетаки могу. Я ходил по коридорам среди камер, в одну из них заходил. Мимо меня прошел генерал Герасимов, знаменитый провокатор, желтолицый, без погон, смущенно поклонился. Допрос происходил в комнате, где допрашивали декабристов, серый день, серые рамы окон, за окном веточка. Белецкий в поношенном пиджаке, умный, хитрый, чрезвычайно много и охотно говорит глухим, быстрым голосом. Оборотень немного, острые глаза, разбегающиеся брови на толстом лице. Допрашивает Муравьев, сенатор Иванов, член Государственного Совета, академик Ольденбург и Щеголев, молчат Родичев, четыре стенографистки, комендант крепости (добродушный, скуластый штабс-капитан), секретарь, редакторы (Неведомский, пришедший под конец, и я). Белецкий сидит на стуле прямо передо мной за круглым столиком, с которым постепенно под'езжает к председательскому столу; перед ним — зеркало, сзади него сидит на стуле солдатик в шинели с ружьем, сначала у солдатика страшно внимательно растопырены брови, потом он устает и дремлет, опершись на ружье, только штык торчит.

Не менее трудно, чем работа, присутствие среди юристов, при том юристов «боевых», на которых сейчас смотрит вся страна, потому они очень наэлектризованы сами, сильное лучеиспускание (Муравьев). В понедельник я буду на продол-

жении допроса Белецкого. Маклаков, может быть, еще талантливее Белецкого, оба умны. Но Маклаков — барин, они с Джунковским дворяне, белоручки, а эти (Белецкий, Герасимов, многие др.) — чернорабочие, себе на уме, грязные, это все — гигантская лаборатория самодержавия, ушаты помоев, нечистот, всякой грязи, колоссальная помойка».

В том же письме сведения на счет постановки «Розы и Креста»:

... «Гзовская написала, что окончательно ушла в Малый театр. Добужинский звонил, что в Х. Т. идет усиленная работа над «Розой и Крестом»; надо на днях, до его от'езда в Москву (опять для Р. и К.), зайти к нему посмотреть его работу, почти законченную».

18 мая: ... «А у меня все время «большие дни», т е. я продолжаю погружаться в историю этого бесконечного рода русских Ругон-Макаров, или Карамазовых, что ли; этот увлекательный роман с тысячью действующих лиц и фантастических комбинаций, в духе более всего Достоевского (которого Мережковский так кстати неожиданно верно назвал «пророком русской революции») называется историей русского самодержавия XX века.

В субботу я присутствовал на приеме «прессы», которую Комиссия осведомляла о своих работах. В понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину: глаза у старика смотрят в смерть, а он все еще лжет своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком; набежит на лицо тень

улыбки — смесь стариковского добродушия (дети, семья, дом, усталость) и железного лукавства (венецианская фреска, порфирные колонны, ступени трона, государственное рулевое колесо), — и опять глаза уставятся в смерть. — После этого мы опять ездили в крепость, опять слушали Белецкого. Вчера в третий раз Белецкий растекался в разоблачениях тайн своего искусства, магом которого он был, так что и в понедельник мы будем опять его слушать, он уже надоел немного, до того услужлив и словоохотлив. За то впервые Муравьев взял меня, под предлогом секретарствования, в камеры. Пошли в гости сначала к Воейкову (я сейчас буду работать над ним, это — ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны; потом зашли к князю Андроникову; это — мерзость, сальная морда, пухлый животик, новый пиджачек (все они говорят одинаково: ох, этот Андроников, который ко всем приставал). Князь угодливо подпрыгнул — затворить форточку; но до форточки каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского*).

Пришли к Вырубовой (я только что сделал ее допрос), эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года, она могла бы быть даже красивой, но есть в ней что то ужасное. Пришли к Макарову (мин. вн. дел) — умный человек. — Потом к Каффафову (дир. деп.

*) Между прочим, большую Библию на столе я заметил только у Андроникова. Прим. Блока.

полиции); этот несчастный восточный человек с бараньим профилем дрожит и плачет, что сойдет с ума: глупо и жалко. — Потом к Климовичу (дир. деп. полиции); очень умный, пронзительный жандармский молодой генерал, очень смелый, глубочайший скептик. Все это вместе производит сильное впечатление».

Далее Ал. Ал. жалуется на то, что начальство дружины *просит* отменить просьбу о его откомандировании, не желая лишаться «ценных сотрудников» («это про меня», — удивляется Ал. Ал). Но Муравьев ответил на телеграмму письмом, что Блоку поручена очень ответственная работа... И потому он *настаивает* на его откомандировании... В конце концов, Муравьев, разумеется, перетянул и Ал. Ал. остался в Комиссии. В конце письма: «Gnädige Frau Alexandra Romanow получила наивное немецкое письмо с приглашением погостить в каком то замке Германии. Конечно, письмо это получили мы, а не она. Читал я некоторые распутинские документы; весьма густая порнография.

Добужинский звонил, говорил, что работа идет усиленым темпом. В театр (Худ.) поступила Тиме, есть вероятность, что Изору дадут ей или Кореневой».

22 мая: «У меня очень много неизгладимых впечатлений за все эти дни. — Особенно от Протопопова (в камере)... Когда-нибудь людей перестанут судить, каковы бы они ни были. В горе и унижении к людям возвращаются детские черты...

Видел я у Добужинского эскизы «Розы и Креста». Очень красиво, боюсь, что четвертое действие слишком пышно».

26 мая: «Я сораспинаюсь со всеми», как кто то у Андрея Белого. Действительно, очень тяжело. Вчера царскосельский командир рассказывал подробно все, что делает царская семья. И это тяжело. Вообще, все правы — и кадеты правы, и Горький с «двумя душами» прав, и в большевизме есть страшная правда. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они «старые» и «новые», сидят в нас самих, во мне, по крайней мере, я — вишу в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба. При всем том Петербург опять необыкновенно красив».

30 мая: «Вчера во дворце после мрачных лиц «бывших людей», истерических сцен в камерах, приятно было слушать Чхеидзе, которого допрашивали в качестве свидетеля... Во время допроса вошел Керенский: в толстой военной куртке без погон, быстрой походкой, желто бледный, но гораздо более крепкий, чем я думал. Главное — глаза, как будто не смотрящие, но зоркие и — ореол славы. Он посидел пять минут, поболтал, поздоровался, простился и ушел. Кажется, я не писал тебе, что на днях утром я обходил с Муравьевым камеры... Поразило одно чудовище, которое я встречал много раз на улицах, с этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказалось, что это Собещанский, жандармский офицер, присутствовавший

при казнях. В камере теперь это толстая больная обезьяна.

Очень мерзок старик Штюрмер, поганые глаза у Дубровина, M-me Сухомлинову я бы повесил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. Остальные гораздо лучше. Было несколько сцен тяжелых... Теперь я уже с'изнова погружаюсь в тайны департамента полиции, потому что работаю над Белецким».

7 июня: «Муравьев поручил мне привести в известность и порядок все отчеты, что будет нелегко, при беспорядке, которого в Комиссии много... Сегодня я должен бы быть в кадетском клубе, куда m-me Кокошкина, муж ее и В. Д. Набоков созывают несколько литераторов для решения предварительных вопросов о подготовке к Учредительному Собранию. M-me Кокошкина убеждала меня по телефону в прелести моих стихов и моей любви к России, я же старался внушить ей, что я склоняюсь к с.-р., а втайне — и к большевизму и, что, по моему мнению, сейчас любовь к России клонит меня к интернациональной точке зрения и заступился за травимого всеми Горького. Я хотел пойти, но сейчас только вернулся с двух допросов, поздно обедал и устал».

11 июня: Вчера был большой день: в крепости мы с Муравьевым и Манухиным*) обходили наших клиентов, были «раздирающие» сцены. Протопопов дал мне свои записки. Когда нибудь я тебе скажу,

*) Манухин — доктор. Прим. М. Б.

кого мне страшно напоминает этот талантливый и ничтожный человек. Есть среди них твердые люди, к которым я чувствую уважение (Макаров, Климович), но большей частью — какая все это старая шваль. Когда они захлебываются от слез и говорят что нибудь очень для них важное, я смотрю всегда с каким то особенно внимательным чувством: революционным... Ладыженский опять пространно пишет обо мне, опять будут отписываться. Сам я погружен в тайны деп. полиции; мой Белецкий, над которым я тружусь, сам строчит, — потный, сальный, в слезах, с увлечением, говоря, что это одно осталось для его души. В этой грубой скотине есть детское».

15 июня: «Эти дни у меня несколько интересных разговоров и интересных допросов. Маклаков (и неинтересный Штюрмер), несмотря даже на пикантные подробности; до такой степени этот господин—пустое место).

«Исполнительная Комиссия» дружины, наконец, откомандировала меня, прислав мне выписку из протокола заседания, где сказано, что они «выражают глубокое сожаление по поводу утраты редкого по своим качествам товарища» и считают, что «если состав Верховной Следственной Комиссии будет пополняться такими людьми, то Революционная Демократия должна быть спокойна и уверена в том, что изменники и деспоты отечества не избегнут справедливого приговора народного Правосудия» (!!! вот что наделала переписка с Ладыженским!!!)».

19 июня: «Меня ужасно беспокоит все кадетское и многое еврейское, беспокоит благополучием, неуменьем и нежеланьем радикально перестроить строй души и головы. Здесь, у сердца Революции это, конечно, особенно заметно: вечные слухи и вечная паника (у кадетов она выражается в умной иронии, а у домовладельцев и мелких мещан, вроде прислуги, чиновников и пр. — в от'ездах на дачу, в запирании под'ездов и пр. Но, по существу, разницы нет). На деле — город все время находится в состоянии такого образцового порядка, в каком никогда не был, (мелкие беспорядки только подчеркивают общий порядок) и охраняется ежечасно всем революционным народом, как никогда не охранялся. Этот факт — сам по себе — приводит меня иногда просто в страшное одиночество, потому что ни один интеллигентный человек — умнее ли он, или глупее меня — не может этого понять (по крайней мере, я встречаюсь с такими). Кроме того, я нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понятъ (именно с социалистической психологией, совершенно диаметральной, другой), начнет также спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны).

Я это пишу под впечатлением дворца, в котором (в противоположность крепости) я ненавижу бы-

вать. Это царство беспорядка, сплетен, каверз, растерях.

За эти дни я был на С'езде Советов С. и Р. Д., в пленарном заседании, где Муравьев делал доклад о положении нашей работы. Перед этим говорил американец—представитель Кооперации Труда; он долго «поучал» собрание, которое сохраняло полное величие, свойственное русским (смеялись тихо, скучали не слишком заметно, для приличия апплодировали). Американец обещал всякую помощь, только бы воевали и учились, Чхеидзе, отвечая на это «приветствие», сказал коротко и с железным добродушием: «Вы вот помогите нам главное поскорее войну ликвидировать». Тут уже апплодисменты были не американские. Я думал, слушая: давно у них революции не было. Речь Муравьева, большую и довольно сухую, приняли очень хорошо, внимательно и сочувственно.

На другой день допрашивали в крепости беднягу Виссарионова и Протопопова, которого надо было резвлечь (он изнервничался, запустил в поручика чайником, бился в стену головой и пр. — ужасный неврастеник). Развлекли немного».

30 июня: «Если пролетариат будет иметъ власть, то нам придется долго ждать «порядка», а может быть, нам и не дождаться; но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только

дети*)... Но ведь вся жизнь наших поколений, жизнь Европы — бабочка около свечи, с тех пор, как осознал себя, другого не видел, не знаю середины между прострацией и лихорадкой. Этой серединой будет только старческая одышка, особый род головокружения от полета, предчувствие которого у меня уже давно есть».

4 июля: «Мама, эти дни в городе революция, а во дворце — заседания. О революции ты, вероятно, знаешь из газет; на деле все всетаки, как всегда, гораздо проще. Есть красивое (пока мало), есть дурацкое, есть тоскливое. Грозного я вижу немного, у меня мысль о немецких деньгах, сложившаяся из ряда впечатлений, но я вижу мало, потому что очень устаю, то во дворце, то дома, а трамваев со вчерашнего дня нет, так что и кататься нельзя.

Заседают без конца, страшно мешая моей работе. Заседает «пленум» Комиссии и штуки три подкомиссий, я бываю почти везде, состою, кажется, во всех подкомиссиях, говорю много только в одной, непосредственно касающейся только моей работы, а в других только настораживаюсь. Голоса у меня нет, но есть глаза, и небольшая способность влиять через других, что я использую, насколько могу. Цель моя — отмежеваться в своей работе — большой, сложной и страшно запущенной (другими), а на остальное смотреть со стороны. Кое-что мне

*) Увы, на деле будет компромисс, взрослые, как всегда, отнимут у детей часть игрушек, урежут детей. Прим. Блока.

в этом направлении удалось уже сделать (я борюсь, насколько могу, с жидами, дружу с евреями и до известной границы их ценю и уважаю)».

7 июля: «Вчера у меня был очень интересный день. Рано утром я шел в Зимний Дворец пешком, мимо миноносца «Орфей», мимо разведенных мостов, у которых стояли большие караулы. Трамваи еще не пошли.

Во дворце было длинное заседание, которое все время прерывалось, — еще проносились редкие грузовики с пулеметами и ружьями, а уже шла с фронта мимо нас большая велосипедная команда (она заняла теперь «освобожденный» дворец Кшесинской). Ходили разные слухи, пушка, которая во дворце всегда оглушает, не выстрелила в полдень (в это время крепость еще была «занята», телефоны ее не работали и мы боялись за своих клиентов). Однако, на заседании мне удалось высказать очень много и выяснить, что мнения разбиты, у всех различны, самому же — время устраниться от отчета. Это и были мои две цели: изолировать одно влияние и самому уйти в свою специальность (стенограммы). Хотя мою точку зрения признали «аристократической», тем не менее сказали, что для нее будет найдено применение в моей области (Я излагал проэкт отчета Учред. Собранию). Часа в три к нам приехала Следственная Комиссия Исполнительного Комитета С. С. и Р. Д. (три большевика еврея, один с прекрасным лицом, другой с поганым, третий — так се-

бе: известные большевики). Мы поехали большой компанией в крепость. Цель была специальная, так как это — начало расследования шпионажа и немецких денег последних дней. Крепостные ворота еще были заняты и охранялись большими патрулями, но крепость была уже «взята» к этому часу, наших клиентов никто не тронул. Когда они спрашивали, почему стрельба, им отвечали, что поднялась вода (едва ли они этому поверили, слыша пулеметы и залпы). Мы вызвали последовательно для кратких допросов Виссарионова, Курлова, Белецкого, Спиридовича и Трусевича. Все они не сказали нам ничего, что было нужно. Так как курловский протокол писал я, то после ходил к нему в камеру. Он вел себя искательно-добродушно. Вечером, когда мы вышли из крепости, уже побежали трамваи. Дворец Кшесинской был во власти правительства, и на улицах было как то очень весело».

8 июля утром: «Восстание подавлено», а сегодня ночью на Неве, на Васильевском острове и во многих местах была стрельба из пулеметов и ружей, и отдельно, и пачками. Мне очень трудно сидеть политически между двух стульев, но все происходящее частью не возвышается до политики, а частью и превышает ее. Все новые и новые слухи об изменах, шпионстве и пр., конечно, оправдаются только частью, но за всем этим есть правда легенды. Мы уже знаем, что многое, что казалось невозможным относительно русского самодержавия, оправдалось, легенда, в сущности, вся оправдалась.

...Вообще русский большевизм на практике до такой степени насыщен и пересыщен чужим самому себе и всякой вообще политике, что о нем, как о политической партии, невозможно говорить.

Благодаря сидению между двух стульев, я лишен всякой политической активности. Что же делать? Надо полагать, что этой власти у меня никогда не будет».

12 июля: «Сегодня в городе неприятно — висит об'явление Церетелли (от Мин. Вн. Д.), масса команд, солдатских, конных и пеших патрулей. Вообще, поворот направо.

На фронте — тоже неприятно. Я за эти дни опять много всякого переживал, гулял очень много и работал также. На огромном допросе Крыжановского (интересном, так как он умный человек) мне пришлось быть секретарем и предстоит быть редактором, так что — много возни с документами. В перерывах этого допроса все время вырвалось новое (был день потрясающих слухов). Родичев испускал какие то реторические вопли и плакал, Неведомский с ним сцеплялся и тоже плакал (все, разумеется, касалось «ленинцев»—здесь и на фронте).

Опять я не вижу будущего, потому что проклятая война затягивается, опять воняет ею. Многое меня очень смущает, т. е. я не могу понять, в чем дело. Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливаются. Сейчас я прошел в вечерней газетке (прежде всего во французской «L'entente»: «Le retablissement de la peine de mort»). Хотя и на фронте, «принципиально»,

«в случаях бегства», но, всетаки, это меня как то поразило».

16 июля на вопрос мой, не приедет ли Саша в Шахматово, он отвечает: «Это и фактически трудно устроить, и, кроме того, я не возьмусь, потому что держусь колеи, без которой всякой работе — конец; я даже в Псков, который близко, не смог с'ездить, боюсь выбиться. Один уезжаю, страшно люблю Шуваловский парк, как будто это второе Шахматово и как будто я там жил, так что мне жалко уходить оттуда. Иногда на это уходит даже целый день, но, з а б ы в а я о д н о, (р а б о т у), я, т а к с к а з а т ь, н е в с п о м и н а ю (и л и м а л о в с п о м и н а ю) д р у г о е, т а к ч т о м н е н а с л е д у ю щ и й д е н ь л е г ч е в е р н у т ь с я в д е л о. Вообще, если бы не работа, я бы был совершенно издерган нервно. Работа — лучшее лекарство; при всей постылости, которая есть во в с я к о й работе, в ней же есть нечто спасительное. В с е является в совершенно другом свете, многое с м ы в а е т с я работой.

Обобщая далее, я должен констатировать, что, как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания в одной полосе, я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять, в глазах пестрит. Это — постоянное следствие утраты пафоса, в данном случае, революционного (закон столь же общий, сколько личный). Поэтому я не умею бунтовать против кадет и с удовольствием почитываю иногда «Русскую Свободу», которой

прежде совсем не понимал. Однако, я сейчас же хочу оговориться, что это временно, так как, любя кадет по крови, я духовно не кадет, и, будучи во многом (в морали и культурности) ниже их, никогда не пойду с ними; утрачивая противовес эмоциональный (ибо я, отупев к событиям, не в состоянии сейчас «осветить» их, «внедриться» в революцию — термин деп. полиции), ищу постоянно, хотя бы рационального (читаю социалистические газеты, например). Но так как качание маятника во мне медленное, он не добрасывается эти дни до стихии большевизма (или добрасывается случайно и редко), и я несколько отдыхаю, работая и гуляя.

«Правые» (кадеты и беспартийные) пророчат Наполеона (одни первого, другие третьего). В городе, однако, больше (восхитительных для меня) признаков русской лени и лишь немногие парижские сценки. Свергавшие правительство частью удрали, частью попрятались. Бабы в хвостах дерутся. Кронштадцы, приехавшие сюда 4 июля, в знак высшего нахальства, имели ружья на веревках. Когда их арестовывали, они главное просили не отбирать ружей, потому что стыдно вернуться в Кронштадт, не только не свергнув правительство, но и без ружей, и много такого. Когда устанешь волноваться, начинаешь видеть эту восхитительную добродушную сторону всех великих событий.

Завтра мы будем допрашивать Хвостова — племянника («толстого Хвостова»), величайшего среди всех наших клиентов сплетника и шута».

24 июля: «За эти дни кроме большой очередной работы, происходило следущее: Муравьев и Ольденбург, наговорив мне комплиментов, склонили меня писать в отчете для Учред. Собрания, и я выбрал для пробы главу о Протопопове, хотя, по прежнему, очень недоволен выработанным планом, составом и пр. Меня утешало присутствие Ольденбурга, как председателя редакционной комиссии. Сегодня однако, с утра выяснилось, что Ольденбург, у которого сегодня ночью был Керенский, ушел — в министры народного просвещения (сам он думает, что это ненадолго, и давно уже хочет итти на войну простым солдатом). Появился Тарле, хотя и не заместителем Ольденбурга, но, в качестве редактора, я с ним говорил утром, убедился, что он (для меня) труднее Ольденбурга и забил тревогу, т. е. убедил председателя вновь пересмотреть план (меня поддерживал Неведомский), что мы и будем делать завтра.

Кроме того, сегодня допрашивали Нератова и Маркова II. Последний — очень умный и очень сильно затравленный человек, с хитрецой и с тактом, который позволял ему все время держаться вызывающе, у пределов наглости, и высказывать много горьких замечаний, среди которых были «истины». Вообще, он на меня произвел сильное впечатление»*).

---

*) Ничего общаго с тем, что есть в этом человеке, газеты не передавали. Вообще, печать всего мира (газетная) — страшный бич, мы никогда не читали и не прочтем ни слова правды, все можно только самому видеть. Прим. Блока.

28 июля: «Мама, я сижу между двух стульев (как, кажется, все русские)... От основной работы отстал, а к новой не подступаю. Деятельность моя сводится к тому, чтобы злиться на заседаниях и осиливать языком и нервами, в союзе со многими русскими и евреями, ничтожную кучку жидков, облепивших председателя и не брезгающих средствами для того, чтобы залучить к себе «новых» (пока Тарле)... опять подумываю о «серьезном деле», каким неизменно представляется мне искусство и связанная с ним, принесенная ему в жертву, опустившаяся «личная жизнь», поросшая бурьяном».

Далее, по поводу тревоги, которую он замечает в наших с сестрой письмах, он пишет: «Мы — «обыватели»; теперь теряются и более дальнозоркие, чем мы. В утешение нам всем я могу привести фразу С. В. Иванова, по моему, необыкновенно значительную; он раз сказал: «Все мы, и я первый виноваты в том, что не умели управлять этими людьми в свое время (о Протопопове и пр.). Оттого все и пошло. И я первый из вас... оставим этот разговор». Сказал с большим волнением, очень искренним. Отчасти в ответ на мои упорные речи в Комиссии о том, что все эти люди — глубоко ничтожны были в государственном смысле (что ему очень понравилось), сам он — старый сенатор, бывший товарищ государственного контролера, кадет, не подавал руки Щегловиту.

Положение, действительно, ужасно; для тех, кто стоит на государственной точке зрения, оно,

повидимому, катастрофично. Но, с позволения сказать, можно, не будучи ни анархистом, ни большевиком, можно полагать иначе. Впрочем «давно, лукавый раб, замыслил я побег в обитель тихую трудов и мирных нег», если это будет когда нибудь исполнимо».

1 августа: «Я получил через Струве приглашение Временного Комитета, «Лиги Русской Культуры» — вступить туда членом и сказать речь о русской культуре на первом публичном собрании. Ответил длинным письмом, что вступаю, но оговорился, что мне больно, что там нет Горького, а есть Родзянко. Относительно своего вступления — в зависимости от службы (повидимому, кроме Протопопова, я возьму себе тему «Последние дни старого режима»). Временный Комитет «Лиги Русской Культуры» — Родзянко, Карташов, Шульгин, Савич и Струве. В числе учредителей — Ольденбург. (Как видишь, и я «правею»)*).

4 августа: «Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую (с вечной водевильной примесью) полосу, все тащат «тягостный ярем». Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить. Спасает только работа, спасает тем, что, организуя, утомляет, утомляя, организует. Люба и работа — больше я ничего сейчас не вижу.

Третьего дня допрашивали Гучкова. Трудно быть мрачнее и говорить мрачнее. Вчера я прислу-

*) Из этой затеи ничего не вышло. Прим. М. Б.

пил к работе для отчета, весь день делал подготовку... Председатель поручил мне сделать спешно к завтрашнему дню большую редакционную работу (для Керенского, я уже ее сейчас сделал).

Купаюсь, всетаки, завтра надеюсь после еще одного заседания вырваться купаться».

12 августа: «Работы так много, что я потерял почву и работаю не особенно прилежно — однако приготовляюсь к отчету, а в стенограммах мне помогает Люба и наемные лица. Наш председатель и другие уехали на совещание, я пользуюсь этим и усиленно купаюсь, работая пол-дня».

Это последнее письмо в Шахматово. Мы с сестрой вернулись в Петербург в середине августа. В дальнейшем уже почти не придется пользоваться этим интересным матерьялом, так как мать и сын не расставались до весны 1921 года.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ал. Ал. закончил статью «Последние дни старого режима», предназначавшуюся для отчета Учред. Собранию, в апреле 1918 г., но после октябрьского переворота и разгона Учред. Собр. она потеряла свое первоначальное значение и осталось у него на руках, как исторический матерьял. Сдав работу и документы, он передал статью П. Е. Щеголеву для опубликования в издаваемом им журнале «Былое», но благодаря условиям типографского дела ее

удалось напечатать только в 1921 году. Та же статья, дополненная семью документами и подготовленная к печати еще при жизни Ал. Ал., вышла отдельной книгой в издательстве «Алконост» под названием «Последние дни императорской власти», уже после смерти поэта.

Переворот 25 октяря, крах Учредительного Собрания и Брестский мир Ал. Ал. встретил радостно, с новой верой в очистительную силу революции. Ему казалось, что старый мир действительно рушится и на смену ему должно явиться нечто новое и прекрасное. Он ходил молодой, веселый, бодрый, с сияющими глазами — и прислушивался к той «музыке революции», к тому шуму от падения старого мира, который непрестанно раздавался у него в ушах по его собственному свидетельству. Этот под'ем духа, это радостное напряжение достигло высшей точки в то время, когда писалась знаменитая поэма «Двенадцать» (январь 1918 г.) и «Скифы». Поэма создалась одним порывом вдохновения, сила которого напоминала времена юности поэта.

«Двеннадцать» появились впервые в газете «Знамя Труда», «Скифы» в журнале «Наш Путь». Затем, «Двеннадцать» и «Скифы» были напечатаны в московском издательстве «Революционный социализм» со статьей Ив. Разумника. Поэма произвела целую бурю: два течения, одно восторженно-сочувственное, другое — враждебно—злобствующее — боролись вокруг этого произведения. Во враждебном лагере были такие писатели, как Мережковский, Гип-

пиус и Сологуб. Одни принимали «Двенадцать» за большевистское credo, другие видели в них сатиру на большевизм, более правые группы возмущались насмешками над обывателями и т. д.

«Двенадцать» переведены на немецкий, французский, итальянский, польский, японский и древне-еврейский языки. Итальянское издание вышло под названием — «Icanti bolscewichi» (Большевистские песни). Почти все иностранные издания вышли с рисунками. Сколько мне известно, лучший перевод немецкий (перевел Грегер).

13 мая 1918 года кружок поэтов «Арзамас» устроил вечер в зале Тенишевского училища. На вечере должны были выступить многие поэты, уже давшие свое согласие, но, узнав, что в программе вечера стоит поэма «Двенадцать» в чтении Л. Д. Блок, поэты Сологуб, А. Ахматова и Пяст отказались участвовать в вечере. Поэма все-же была прочитана и имела успех. Следующий вечер с чтением «Двенадцати» был устроен в сочувствующей революционно-настроенной аудитории. Многочисленная публика, в числе которой было не мало солдат и рабочих, восторженно приветствовала поэму, автора и чтицу. Впечатление было потрясающее, многие были тронуты до слез,сам Ал. Ал., присутствовавший на чтении, был сильно взволнован и записал в своем дневнике: «Люба читала замечательно». Вскоре после этого состоялся большой концерт в Мариинском театре в пользу школы журналистов с участием Шаляпина, Ал. Ал. читал свои стихи, Люб. Дм. прочла «Двенадцать»,

буржуазная публика Шаляпинских концертов слушала очень внимательно, но как и всегда потом, аплодировала только половина залы, другая враждебно молчала. В числе сочувствующих неожиданно оказался Куприн, который подошел к Люб. Дм. и выразил ей свое удовольствие, особенно похвалив ее чтение.

Сезон 1917-18 года был самым тяжелым для Петербурга, да вероятно и всей остальной России — в смысле условий существования. Вздорожание и скудость припасов заставили голодать большинство петербургских жителей. Ал. Ал. не избег общей участи. Он питался довольно таки плохо, так как заработок его был невелик, и они с Люб. Дм. не успели еще примениться к новым условиям жизни. Но Ал. Ал. переносил голодовку очень легко. Главной причиной этого было, конечно, его приподнятое настроение, кроме того он накопил большой запас здоровья во время службы на Пинских болотах. Очень важную роль играло еще и то обстоятельство, что он месяца два был свободен от службы, и чувствовал себя, наконец, писателем. То одичание и отупение, на которое он так жаловался в письмах к матери, когда вернулся с фронта, совершенно прошло и сменилось остротой восприятий, радостным возбуждением, потребностью в общении с сочувствующими людьми и приливом творческих сил. С конца 1917 года возникла в Петербурге газета «Знамя Труда», с января 1918 года стал издаваться тем же кружком литераторов журнал «Наш Путь». Литературным отделом

заведывал Иванов Разумник, Ал. Ал. сотрудничал в обоих изданиях и близко стоял к интересам редакции, находя в ее атмосфере отлик своих настроений. Он очень часто заходил в «Знамя Труда» и проводил там целые часы в оживленной беседе на всевозможные темы, особенно много общего было у него с Ивановым Разумником, с которым он сошелся еще на редакционных сборищах «Сирина», о которых в свое время упоминалось. В «Знамени Труда» была напечатана и статья Ал. Ал. «Интеллигенция и революция», завершившая цикл его статей, трактовавших одну и ту же тему с разных сторон. Шесть из них написаны в предчувствии революции, последняя — во время революции, еще в период ее кипения, — но все об'единены одной и той же мыслью, и написанное за десять лет не утратило интереса современности. Вопросы, затронутые в них, были настолько животрепещущими для данного времени, что Ал. Ал. захотелось возобновить статьи в памяти читающей публики. Они были напечатаны в «Знамени Труда», а затем все семь статей, собранные под общим названием «Россия и интеллигенция», появились в московском издательстве «Революционный социализм» отдельной брошюрой (1918 г.). В следующем 1919 году вышло второе издание брошюры в издательстве «Алконост».

В первую половину 1918 года Ал. Ал. писал много статей — главным образом, об искусстве, печатал он их в московской газете «Жизнь», в петербургской «Жизнь искусства» и др. изданиях. Между прочим

написал «Искусство и революция» (по поводу творений Рихарда Вагнера) и «Русские денди». Часть этих статей не попала в печать, другие напечатаны в следующем году. Я не стану перечислять их, так как имеется подробный список всех работ Ал. Ал., составленный им самим. Очень характерно для тогдашнего настроения поэта, что в 1918 году написан его очерк «Катилина».

В эту счастливую пору, когда Ал. Ал. был свободен от всякой службы, он особенно часто посещал кинематограф и театры «миниатюр». Кинематограф он всегда любил и ходил туда и один, и с Люб. Дм., которая увлекалась этой забавой не меньше его. Но Ал. Ал. не любил нарядных кинематографов с роскошным помещением и чистой публикой. Он терпеть не мог всяких «Паризиан» и«Soleil» по тем же причинам, по которым не любил Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу тот самый слой сытой буржуазии, золотой молодежи, богатеньких инженеров и аристократов, который был ему до нельзя противен и получил насмешливое прозвание «подонки общества», о котором я уже упоминала. Ал. Ал. любил забираться в какое нибудь захолустье на Петербургской стороне или на Английском проспекте (вблизи своей квартиры), туда, где толпится разношерстная публика, не нарядная, не сытая и наивно впечатлительная, — и сам предавался игре кинематографа с каким то особым детским любопытством и радостью. Театры «миниатюр» он полюбил, кажется, еще больше кинематографов. Он особенно увле-

кался куплетистами. На Английском проспекте оказался театр «миниатюр», который ему особенно полюбился. Он находил какую то особую прелесть и в убогости обстановки захолустных театриков, не говоря уже об их публики.

Его любимцами были два талантливых куплетиста — Савояров и Ариадна Горькая. Ал. Ал. совершено серьезно считал их самыми талантливыми артистами в Петербурге, он нарочно повел на Английский пр. Люб. Дм., чтобы показать ей, как надо читать «Двенадцать». И слушая Савоярова, Люб. Дм. сразу поняла, в каком направлении ей надо работать, чтобы хорошо прочесть поэму. Это было настоящее, живое искусство, непосредственное и сильное. Оттого оно так и нравилось Ал. Ал.

К литературным событиям этого сезона относится возникновение издательства «Алконост» (1918 г.). Основатель его — С. М. Алянский случайно познакомился с Ал. Ал., зайдя к нему по какому то книжному делу, и предложил ему издать в виде пробы одну из его книг. Ал. Ал. согласился на его предложение и дал тогда поэму «Соловьиный сад», написанную в 1915 году и появившуюся в газетах. На этот раз «Соловьиный сад» был напечатан отдельной книжкой. Поэма настолько забылась публикой, что даже критик Львов Рогачевский принял ее за новое произведение Блока. Отношения Ал. Ал. к Алянскому сразу приняли дружеский характер, основанный на полном доверии и симпатии. Молодой издатель, еще неопытный в своем деле, руководствовался советами

Ал. Ал. и быстро развился под его влиянием, приобретя почетное и прочное положение. За первой книгой Ал. Ал. последовала другая в том же издательстве и мало по малу дело свелось к тому, что Ал. Ал. — за редкими исключениями — стал печатать свои сочинения только в «Алконосте».

Но вернемся к началу чреватого событиями сезона 1917-18 года. Положение Ал. Ал. после упразднения Чрезвычайной Следств. Ком. стало критическим. Ему приходилось или итти в солдаты, или поступать на гражданскую службу. То и другое ему претило, приходилось выбирать из двух зол меньшее. Он выбрал службу гражданскую тем более, что представлявшиеся ему случаи, избавляя его от ненавистной военщины, в то же время имели касание к литературе и искусству, и таким образом Ал. Ал. надеялся отдать свои силы не даром и принести пользу хотя бы ценою больших жертв и в ущерб своему личному творчеству.

Еще раньше, осенью 1917 года он стал работать в Литературной Комиссии, заменившей Театрально-Литературный Комитет Александринского театра. Тогдашний директор Государственных театров Ф. Д. Батюшков пригласил его туда в качестве члена вместе с П. О. Морозовым, Горнфельдом и Е. П. Салтановой. Но это длилось недолго. Вначале 1918 года, уже при новой власти Ал. Ал. был приглашен в члены Репертуарной Комиссии Театрального Отдела. Это было большое дело. В Комиссии насчитывалось множество членов, в том числе профессора Ф. Ф.

Зелинский и Н. А. Котляревский, П. О. Морозов и мн. др. Ал. Ал. был выбран председателем Репертуарной Комиссии и принялся за дело с жаром и большими надеждами. В его обязанности входило частое посещение драматических театров и рассмотренние старых и новых пьес. Под руководством Ал. Ал. работали в библиотеке Александринского театра молодые и интеллигентные люди, любящие искусство. Они пересматривали пьесы, непропущенные цензурой и накопившиеся с давних лет. В этом обширном матерьяле было много не только забытых, но и незнакомых пьес, никогда ни кем не прочитанных. У себя на дому Ал. Ал. рассматривал новые пьесы. Одобряемые им и Комиссией, должны были печататься в издательстве Театрального Отдела. В 1919 году в издательстве ТЕО вышел целый ряд пьес классического репертуара как русских, так и иностранных, а также пьесы новых писателей. Ал. Ал. много занимался составлением списка пьес для народного театра. В числе желательных кроме классических пьес и старинных водевилей, он считал также и мелодрамы. Задачи Театральнаго Отдела были широкие. Предполагалось развить театральное дело в деревне, датъ народу возможность иметь пьесы лучшего репертуара и создать кадр инструкторов для постановки их в сельских театрах. Ал. Ал. побуждал членов Комиссии Репертуарной Секции к энергичной работе, произносил речи, пересматривал у себя на дому новые пьесы, отмечая все мало мальски свежее и талантливое, и сначала верил в возможность живой и пло-

дотворной работы, результаты которой могли бы вознаградить его за потраченную энергию и постылый труд, отвлекавший его от настоящего дела. Но вскоре он убедился в том, что здесь царит знакомая бюрократическая пошлость, так как все широкие замыслы оставались только на бумаге и правительство не давало средств на их осуществление. Запросов из провинции было много, но когда Ал. Ал. приходилось дежурить в канцелярии ТЕО, он чувствовал полное бессилие: на вопрос рабочего указать ему, где можно найти такую то пьесу Островского, приходилось отсылать его в известную театральную библиотеку, зная заранее, что он не найдет там того, что ему нужно. Когда просили прислать инструкторов, он тоже не имел возможности удовлетворить эту просьбу, т. к. ни людей, ни денег на это не было. Видя бесплодность своих усилий, Ал. Ал. заявил Комиссии о своем желании сложить с себя председательские полномочия и в конце концов, несмотря на дружные упрашивания всех членов не покидать этого поста, он исполнил свое намерение и остался в ТЕО, только в качестве члена, но это удалось ему не сразу.

Мы с сестрой проводили этот сезон далеко не благополучно. Мать Ал. Ал., как и мы, голодала в отсутствие мужа, который вернулся с фронта только к 1918 году. Я жила в эту зиму в комнате, расположенной на одной лестнице с Блоками через площадку, служила в частном обществе, где было очень много работы, при ничтожном заработке,

которого хватало только на квартирную плату и мелкие расходы. Меня поддерживал Ал. Ал. Он кормил и меня и мою прислугу, жившую у него в кухарках. В середине этой трудной зимы я заболела от истощения, а весной у меня обнаружилось острое психическое расстройство. В начале меня поместили в клинику душевно-больных, а в конце мая Фр. Фел. отвез меня в деревню к сестре Соф. Андр., где я провела все лето и заметно поправилась. С приездом мужа положение сестры изменилось к лучшему, т. к. Фр. Фел. стал служить в двух учреждениях, где получал не только жалованье, но и пайки. Но здоровье Ал. Андр. было очень не важно, что отражалось, как всегда, главным образом, на ее нервах. Плохо влияло на нее и мое ненормальное состояние.

В марте месяце того же года Александр Александрович узнал о смерти своей сестры Ангелины, которую давно не видел, т. к. она переселилась в Новгород. Весть о смерти ее принесла ему мать Ангелины, которая пришла к нему вечером вскоре после ее похорон. Ангелина служила сестрой милосердия в Новгородском лазарете. Обязанности свои она исполняла с редким самоотвержением и заслужила всеобщую любовь и глубокое уважение. «Она умерла, заразившись воспалением спинного и головного мозга, — записал Александр Александрович в своем дневнике, — ее хоронили как святую с крестным ходом». Ангелина прожила не более 27 лет. Ее памяти Александр Александрович посвятил сборник стихов «Ямбы».

Тем временем Люб. Дм. затеяла новое дело. Она хотела создать для рабочих театр благородного типа с хорошим репертуаром и стала устраивать его в помещении Луна-Парка. Хлопоты начались еще с марта 1918 года, но театр открывал свои действия в мае. Люб. Дм. сама играла в набранной ею труппе и очень увлекалась этим делом. Не смущало ее и то, что прислуга была отпущена и ей приходилось самой делать всю домашнюю работу. Но дело с театром не пошло на лад. Все благие начинания тормозились из-за недостатка средств, а всего огорчительнее было то, что рабочие то и не пришли в театр. Его посещала обычная буржуазная публика.

В это лето Александру Александровичу пришлось взять на себя еще одну работу. В апреле 1918 года возникло новое большое дело — издательство «Всемирная Литература» под ведением Горького, которому правительство дало на это большие средства. Были приглашены литераторы для заведывания многочисленными отделами литературы, в числе их оказался и Александр Александрович, который взял на себя редактирование собрания сочинений Гейне. «Вс. Лит.» открыла свои действия летом в обширном помещении на Невском. Издательство принимало и печатало как новые, так и старые переводы со всех европейских языков, исключая славянских. Кроме собрания сочинений иностранных авторов, начиная с раннего периода и кончая новейшими, издавалась еще особая библиотека для народа, куда

входили отдельные сочинения с подходящим содержанием. Александру Александровичу часто приходилось писать по заказу Горького вступительные статьи об различных авторах для народной библиотеки. Заседания литературной коллегии «Вс. Лит.» происходили в помещении редакции два раза в неделю. На них решались вопросы общего и частного характера, читались доклады и происходили прения.

Вступив в литературную коллегию «Вс. Лит.», Александр Александрович тоже пережил период надежд, увлечения и разочарования. Он чувствовал большую симпатию к Горькому и надеялся много сделать при его содействии. Сначала дело как будто пошло на лад. Отношения с Горьким завязались хорошие, и никаких разногласий с ним не было. Но с течением времени начало обнаруживаться расхождение по многим вопросам не только с Горьким, но и с другими литераторами, в особенности с Гумилевым. При выборе избранных сочинений авторов Горький руководствовался соображениями, не имевшими никакого отношения к искусству, а кроме того часто менял свои решения и поступал очень деспотично. Это особенно ярко выступало при выборе сочинений для народной библиотеки. Таким образом, и здесь Александр Александрович был обманут в своих лучших чувствах, ему не удавалось воплощать своих взглядов, всюду встречал он противодействие, а между тем работа была утомительная и ответственная. Длинные заседания и домашняя работа отнимали массу сил. Почти весь день

уходил на служебные обязанности. В результате Александр Александрович почувствовал себя скованным насильственной и немилой работой. По свойству своей натуры он считал, что нельзя совмещать свободное творчество со службой. «Что нибудь одно: или быть писателем, или служить», — говорил он. И потому его муза умолкала всякий раз, когда судьба заставляла его служить. Он забавлялся иногда писанием шуточных стихов, всегда очень остроумных — занятие, которое ему ни чего не стоило и доставляло удовольствие — но серьезной творческой работой, которая требовала особого настроения и атмосферы, не мог заниматься.

И все же можно сказать, что первое лето (1918 г.) служба во «Вс. Лит.» еще не очень тяготило Александра Александровича, так как дело шло вначале на лад и пора разочарований еще не наступила. Александр Александрович был в бодром настроении и еще подбодрял себя длинными загородными прогулками с купаньями. Это удовольствие доставлял он себе при всякой возможности, а иногда даже уклонялся от заседаний, вешал телефонную трубку и, махнув рукой жене с шаловливым видом, удирал, как школьник, в Шувалово или на Лахту.

В это лето условия жизни Блоков изменились к лучшему. Этому способствовали и новые заработки, и связанные с театром удобные случаи: во-первых, там можно было часто покупать хлеб, что тогда было трудно, а во-вторых Люб. Дм. выхлопотала, как актриса, две карточки в столовую Музыкальной Дра-

мы, которая помещалась против дома, где жили Блоки и была очень хорошая и дешевая. Осенью 1918 года Люб. Дм. получила приглашение в артистический клуб «Привал комедиантов», где за определенное жалованье каждый вечер читала «Двенадцать». Заработок этот послужил новым подспорьем в хозяйстве. К этому времени Блоки вообще применились к новым условиям жизни. Они кое что начали продавать. Голодать больше не приходилось, дрова на зиму тоже были запасены, а их нужно было немало, так как зимой, даже при хорошей топке Александр Александрович всегда страдал от холода. Это была зябкость, свойственная нервным людям.

Зимой вообще Александру Александровичу жилось гораздо труднее, особенно в темное время — в октябре и ноябре: темнота его удручала и сильно действовала ему на нервы. Это легко проследить по его стихам, написанным в это время года. За то приближение весны он начинал чувствовать необыкновенно рано, часто в конце декабря, когда о тепле еще не было и помину, а самая весна его не томила, а бодрила.

В конце августа 1918 года я вернулась в Петербург из деревни и поселилась в комнате того же дома, где жили Блоки, но по другой лестнице. За лето я настолько оправилась и окрепла, что могла жить самостоятельно на средства, которые получала из своей доли от продажи во «Вс. Лит.» переводов моей покойной матери и сестры Е. А. Красновой.

В эту же осень Александра Андреевна и Франц Феликсович перехали на новую квартиру, которую нашел им Александр Александрович в том же доме, где жил он сам. Это была та самая квартира в 4 комнаты во втором этаже с видом на Пряжку, куда впоследствии переселились и Блоки. Александра Андреевна была в восторге от возможности жить в одном доме с сыном. Он тоже был очень доволен этой комбинацией.

25 отября, день годовщины переворота — Блоки провели как настоящие пролетарии и революционеры. Днем они, несмотря на дождь, ходили смотреть процессии, а вечером смотрели пьесу Маяковского «Мистерия-Буфф» в театре Музыкальной Драмы.

До конца 1918 года не произошло в жизни Ал. Ал. ничего нового, все та же работа в двух учреждениях, начинавшая уже сильно его тяготить. О литературных новостях я уже упоминала.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Весь 1919 год прошел в усиленной работе. В начале года это были доклады в репертуарной секции ТЕО, отзывы о пьесах, составление списков пьес и редактирование издаваемого ТЕО журнала «Репертуар». 16 февраля 1919 года Ал. Ал. получил из ТЕО желаемую отставку, а через два с половиной месяца последовало приглашение от М. Ф

Андреевой вступить в дирекцию руководимого ею Большого Драматического Театра, который открыл свои действия в помещении Музыкальной Драмы. М. Ф. горячо упрашивала Ал. Ал. взять на себя председательствование в режиссерском управлении. Он долго колебался, не решаясь принять этот директорский пост, но в конце концов дал свое согласие. С 26 апреля он уже вступил в исполнение своих обязанностей и, как всегда, горячо принялся за дело.

Актеры и администрация театра приняли его как нельзя лучше. Место главного режиссера занимал Лаврентьев, управляющего театром — Гришин, главным администратором театра был Бережной. Театр располагал большими средствами. Репертуар был почти сплошь классический: Шекспир, Шиллер с прибавлением нескольких новых пьес вроде «Дантона», «Рваного плаща» и «Царевича Алексея» Мережковского. Шли также комедии Мольера и Гольдони. Декорации писались лучшими художниками: Бенуа, Шуко и т. д. Костюмы и постановка были роскошны. Ал. Ал. председательствовал на заседаниях, исправлял тексты переводных пьес, читал новые пьесы, сочинял для актеров речи, которые произносил перед началом и при закрытии сезона. Другие его речи служили темою для бесед с актерами и произносились по поводу первых представлений таких пьес, как «Отелло», «Король Лир», «Голубая птица» Метерлинка и др. Его же речи произносил Лаврентьев на красноармейских спектаклях перед

представлением «Разбойников», «Дантона», «Рваного плаща», «Дон Карлоса»*).

Ал. Ал. часто посещал Большой Драматический Театр. Иногда прослушивал целую пьесу, иногда один или два акта, случалось ему присутствовать и на репетициях. Вскоре театр сделался для него своим. Он полюбил его и не жалел сил для того, чтобы развить и вдохновить актеров и поднять уровень театра. В этом сезоне дела Б. Др. Театра шли хорошо, публика охотно посещала спектакли, романтический дух, который поддерживал Ал. Ал., еще не приелся и не возбуждал больших нападок со стороны прессы.

Работа Ал. Ал. в Б. Др. Театра оплачивалась небольшим жалованьем, но кроме того получался паек и отдельные выдачи: сыр, конфеты, масло, мука.

Тем временем во «Вс. Лит.» шла своя работа. Ал. Ал. усердно и крайне добросовестно занимался редактированием сочинений Гейне, между прочим прочел несколько докладов по этому поводу. К концу года он сдал целый том собрания сочинений. На заседаниях Ал. Ал. давал отзывы о целом ряде старых и новых пьес, о критических статьях и т. д. С весны началась работа по составлению планов и набросков исторических картин. С мыслью об этих картинах особенно носился Горький. Но из бесконечных разговоров на заседаниях, докладах и пр. почти ничего не вышло. Ал. Ал. написал по заказу Горького своего «Рамзеса», изданного впоследствии

---

*) Многие из этих речей напечатаны в „Жизни Искусства". Прим. М. Б.

«Алконостом». В этом же году Ал. Ал. составил список авторов XVIII—XX века и написал к ним об'яснительную записку. 30 марта в 2 ч. дня состоялось в помещении «Вс. Лит.» чествование Горького. Ал. Ал. остался доволен этим торжеством. Сам он сказал Горькому очень прочувственную речь, в которой главным образом говорилось о музыке Горького. Тон речи и хорошие, искренние слова, которые так умел в таких случаях подбирать Ал. Ал., конечно, были приятны Горькому, но упоминание о музыке было для него непонятно и неожиданно.

В 1919 году вышло в свет в издательстве «Алконост» второе издание брошюры «Россия и интеллигенция», сборник стихов «Ямбы», «Катилина» и «Песня Судьбы» в исправленном и дополненном виде.

С начала года начались переговоры с Ивановым-Разумником об учреждении Вольной Философской Ассоциации. Ал. Ал. ездил для этого к нему в Царское Село, но прежде, чем удалось привести это дело к концу, главные учредители и участники его Иванов Разумник, Ремизов, Петров-Водкин, Штейнберг и др. — были арестованы. В числе их оказался и Ал. Ал., арестованный по подозрению в принадлежности к партии эсеров. Арест состоялся 15 февраля. Я не буду описывать его подробностей, чтобы не повторять того, что можно прочесть в воспоминаниях Штейнберга, напечатанных Вольфилой. Скажу только, что Ал. Ал. предупреждали об аресте и он имел полную возможность от него уклониться, но не пожелал этого сделать и по обыкно-

вению своему пошел вечером гулять. В его отсутствие явился комиссар, который был принят Люб. Дм. Как только Ал. Ал. вернулся с прогулки, он был арестован. Выпустили его на третий день утром. Он пришел домой около 11 часов утра, зайдя предварительно к матери. Открытие Вольфилы состоялось весной 1919 года, кажется, в апреле. На первом заседании Ал. Ал. прочел доклад: «Крушение Гуманизма», который появился в печати два года спустя в московской газете «Знамя». Этот вечер был одним из лучших впечатлений Ал. Ал. в этом безрадостном году.

Весной Ал. Ал. был приглашен в «Союз Деятелей Художественной Литературы», и за два месяца своего пребывания в этой организации успел сделать очень много работы. Кроме участия в заседаниях он составлял списки писателей XX века и писал рецензии о стихах поэтов Цензора, Г. Иванова и мн. др., а также выступал на трех вечерах Союза, читая свои стихи.

В семье нашей в этом году было много тревожного и печального. Здоровье Фр. Фел. пошатнулось, а между тем ему приходилось довольно много работать, а иногда и далеко ходить. Сестра отпустила прислугу и выбивалась из сил, исполняя всю домашнюю работу кроме стирки: ходила на рынок, носила пайки, продавала вещи. Все это было совсем не по ней, и Ал. Ал. все время беспокоился об ее здоровьи, имея на это полное основание. Он помогал ей по мере сил деньгами и припасами, но сущест-

венно изменить положение дела не мог, так как труднее всего Ал. Андр. было обходиться без прислуги, а нанять ее он не имел возможности. Моя поправка оказалась непрочной. Нервы мои не выдержали забот и суеты петербургской жизни, и в январе я вновь заболела нервным расстройством. Я решила уехать из Петербурга в Лугу, где у меня были знакомые, которые наняли мне квартиру и могли мне помочь устроиться. Зная, что в Луге жизнь дешевле и проще, я ликвидировала свои дела в Петербурге и в начале февраля уехала в сопровождении своей старой прислуги, о которой я здесь упоминала. Она взяла на себя все заботы обо мне и родные мои были спокойны, поручая меня именно ей. Я прожила с ней в Луге два с половиной года, изредка приезжая повидаться со своими и совершенно оправилась от своих недугов.

В марте месяце этого года неожиданно для всех скончалась в Москве наша старшая сестра Соф. Андр., самая здоровая и крепкая из нас.

Тем временем Люб. Дм. продолжала свою службу в «Привале комедиантов». Она выступала там до марта 1919 г., после чего стала служить в Эрмитажном театре и ездила на гастроли в Кронштад и другие места, расположенные по близости от Петербурга.

Весной 1919 года зародился журнал «Записки мечтателей», издаваемый Алянским. Во всяком номере появлялось какое нибудь небольшое произве-

дение Блока, хотя бы из его старых неизданных стихов или набросков, имеющих касание к искусству.

К приятным воспоминаниям этой скучной и нудной зимы можно отнести несколько пирушек с хорошим угощением в «Привале Комедиантов», куда приглашали Ал. Ал. по разным поводам, имевших отношение к искусству. Это было веселое развлечение и хорошая встряска. Там встречался Ал. Ал. со многими литераторами и художниками разных специальностей, между прочим с композитором А. Лурье, который был в то время во главе музыкальных дел. В марте этого года Лурье, уезжая в Москву, передал Ал. Ал. свое место в Мариинском Театре, которым Ал. Ал. охотно пользовался сам или передавал его жене. Он часто бывал и в опере, и балете, что доставляло ему большое удовольствие. Пасху в этом году Блоки встретили весело. Люб. Дм. наготовила много всякой вкусной пасхальной еды, убрала стол по праздничному и нарядилась в белое платье. Ал. Ал. был очень доволен и с веселым видом встретил мать и отчима, пришедших в гости.

Летом Ал. Ал. усиленно гулял и купался, облюбовав на этот раз русский берег «Стрельны». Запрещения ездить в «Стрельну» Люб. Дм. удалось избежать, выхлопотав какую то бумагу. В это же лето начались поползновения на выселение Блоков из их квартиры, которые тоже удалось прекратить. Пришлось хлопотать Люб. Дм. также по поводу какого то высокого налога, который хотели взыскать с Ал. Ал. Но после нескольких походов ей удалось

предотвратить и эту беду, при помощи еще какой то бумаги. С осени начались новые неприятности. Во-первых, отсутствие света. Люб. Дм. с трудом доставала свечи для занятий Ал. Ал. Сама же сидела по вечерам с ночником, так как керосину было достать невозможно. Затем Ал. Ал. пришлось сидеть у ворот на вечернем дежурстве. В 18 году он отклонил эту тяготу, наняв за себя дворника, теперь же нанять было некого, и он проскучал несколько вечеров за этим глупым занятием. Вероятно, он был бы рад, если бы что нибудь случилось и ему пришлось-бы как нибудь действовать, но сидеть у ворот без дела, только потому, что этого требует домовый комитет, побуждаемый трусливыми обывателями, справедливо казалось ему бесцельным и даже смешным занятием, я не говорю уже о скуке.

Отсутствие света, закрытие лавок и упразднение телефонов, ознаменовавшее сезон 1919/20 года сильно раздражали Ал. Ал. Настроение его становилось все хуже и хуже. Каждый шаг жизни усложнялся, а между тем работать приходилось все также, т. е. с не меньшим напряжением сил, причем результаты этой работы все менее и менее его удовлетворяли. Во «Вс. Лит.», несмотря на прекрасное отношение к нему большинства коллегии, дело тормозилось все усиливавшимся разногласием с Горьким и с Гумилевым. В Б. Др. Театре Ал. Ал. раздражало и угнетало деспотическое вмешательство М. Ф. Андреевой. Сначала это были только принципиальные расхождения, которые давали себя знать

главным образом на заседаниях, и без того составлявших самую тяжелую часть службы Ал. Ал. Но понемногу те же черты обнаружились и в самой работе театра. Вначале А. А. относился ко всему этому довольно легко, но с течением времени он все более и более тяготился выступлениями Мар. Фед. Его утешало только общее отношение к нему всех служащих театра: администрации, актеров, начиная со старших, вроде Юрьева, Монахова и Максимова, — и кончая сторожей и мелких служащих.

1920 год начался с важных семейных событий. В конце января скончался от последствий воспаления легких Фр. Фел. Саша своими руками уложил его его в гроб, украсив крышку крестом из позумента. Обстановка похорон была, разумеется, самая простая: по тогдашним условиям можно было нанять только убогие дроги, на которые и поставили гроб с тем, что везти его на Смоленское кладбище. В день похорон стоял трескучий мороз. Ал. Андр. была очень утомлена работой последних месяцев и уходом за больным и вдобавок сильно простужена, поэтому она проводила гроб только до конца Алексеевской улицы. Люб. Дм. тоже не пошла дальше, осталась дома, чтобы встретить мужа горячей едой в натопленой комнате. Так что хоронил Фр. Фел. один Саша. Могила Фр. Фел. расположена по близости от наших покойников, по другую сторону той дорожки, у которой похоронен его пасынок.

После смерти мужа, Ал. Андр. заболела сильнейшим бронхитом. Для удобства ухода и сношений

сын перевел ее на свою квартиру, где она и перенесла всю болезнь. Чтобы не отвлекать Люб. Дм. от ее домашней работы и необходимых походов, взяли сестру милосердия. Ал. Андр. поправилась довольно скоро, а так как опять начались разговоры о возможности вселения матросов в квартиру Ал. Ал., он решил перебраться с женой к Ал. Андр. Оставив часть вещей на своей старой квартире у тех, кто ее нанял, а часть продав, он перенес все остальное вниз вдвоем с наемным помощником. Мать перенес он на руках обратно в ея квартиру и быстро устроился на новом месте. Таким образом вся семья избавилась от опасности вселения и приобрела кое какие преимущества: во-первых меньше шло дров, а во-вторых их легче было носить во второй этаж. Теснота, разумеется, была изрядная, так как, несмотря на продажу всего лишнего из обстановки Ал. Андр., покойного Фр. Фел. и Блоков, мебели в квартире оказалось всетаки значительно больше прежняго, а пространство ее было меньше верхней. Между прочим Ал. Андр. хотела продать письменный стол Ал. Ал. и поставить ему другой, принадлежавший дедушке Бекетову, который был гораздо больше и лучше, но Ал. Ал. предпочел оставить у себя прежний, сославшись на то, что за этим столом была написана большая часть его стихов. В большой комнате с двумя окнами на Пряжку Ал. Ал. поставил свои шкафы и полки с книгами, письменный стол поместился, как всегда, боком к окну, в той же комнате стояла и кровать, заставленная ширмами, а

также обеденный стол, менявший свое место по времени года: летом он стоял у свободного окна, зимой рядом с печкой. Над постелью своей Ал. Ал. по обыкновению повесил картинку с изображением Непорочной Девы (Immacollata), подаренную ему в раннем детстве маленькой итальянкой Софией, на одной из стен висел давнишний подарок матери — вид Бад-Наугейма и фотография Мадонны Сассо Феррато, в которой Ал. Ал. находил большое сходство с женой.

До весны шла все та же работа, не расцвеченная никакими событиями и случайностями. Трудно досталась Ал. Ал. эта зима. Он работал только из чувства долга, без всякой веры и увлечения. Революционные огни погасли, кругом было серо и уныло, Ал. Ал. был глубоко разочарован и замкнулся в своей печали. Он не слышал уж больше шума от падения старого мира, «музыка революции» отзвучала, все сводилось к пайкам, к серой и нудной борьбе за кусок хлеба. Ал. Ал. все с той же добросовестностью делал свое трудное дело в обоих учреждениях: по прежнему составлял он речи для актеров к постановке наиболее ответственных пьес, к спектаклям, устраиваемым для красноармейцев, и к открытию и закрытию сезона. Для «Вс. Лит.» он усиленно, иногда ночью, занимался редактированием сочинений Гейне и к концу года сдал еще один том. В течении этого года Ал. Ал. сделал много мелкой работы: он редактировал отдельные переводы, давал отзывы о пьесах и стихах и т. д. Зима его сильно

утомила тем более, что он перенес тяжелую инфлуэнцу,которая длилась целый месяц.

В этом году напечатаны были под его редакцией сочинения Лермонтова с его вступительной статьей*). В Петербурге Гржебин издал сборник его стихов, «За гранью прошлых дней». В «Алконосте» вышло «Седое утро».

С весны начались кое какие события и развлечения. В мае Ал. Ал. поехал в Москву по приглашению известного во всей России организатора литературных вечеров и концертов Долидзе, который устраивал вместе с Надеждой Александровной Нолле (по мужу Коган) ряд концертов с участием Блока. Ал. Ал. согласился на эту поездку ради поправления своих денежных дел и не раскаялся. Поехал он в сопровождении Алянского со всеми удобствами; в Москве ему предоставлено было два помещения: у Долидзе и у Коганов, с которыми он был знаком еще с 1912 года по Петербургу. Ал. Ал. выбрал Коганов, которые очень уговаривали его поселиться у них, и провел в Москве две недели.

Его выступления — счетом не меньше пяти — были настоящим триумфом. Стол, за которым читал он, был всегда украшен цветами, восторженно принимавшая его публика ломилась на все вечера, его приветствовали, чествовали, ублажали с трогательной любовью. Ал. Ал. побывалъ раз в Художественном театре, видался со Станиславским. Мысль ставить «Розу и Крест» все еще не была оставлена,

*) В издании Гржебина в Берлине. Прим. М. Б.

но весь состав исполнителей изменился, большинство мужчин оказались призванными в войско, Гзовская ушла в Малый театр, Станиславский пробовал еще новый способ постановки. Ал. Ал. не имел возможности присутствовать на репетициях, но приятно провел время в атмосфере Художественного театра. Вообще ему было в Москве очень хорошо, он освежился, развлекся, приободрился и вернулся в Петербург в спокойном и веселом настроении.

Вскоре после возвращения его в Петербург приехала из Москвы и явилась к нему поэтесса Н. А. Павлович. Она задалась мыслью основать в Петербурге Союз Поэтов по примеру московского и просила Ал. Ал. взять на себя инициативу этого дела. Ал. Ал. не особенно верил в успех ее проэкта, но не отказался работать для его осуществления. Через некоторое время Павлович явилась из Москвы вторично уже с мандатом и разными полномочиями и, поселившись в Петербурге, стала часто видаться с Ал. Ал., хлопоча о Союзе. Ал. Ал. делал все, что мог, для организации Союза поэтов, но вскоре обнаружилось, что затея эта не имеет под собой почвы. Ал. Ал. был выбран председателем Союза, Павлович исполняла обязанности секретаря. Были, как водится, длинные заседания, не приведшие ни к каким существенным результатам. Союз поэтов устроил два вечера. На первом из них в городской думе произнес вступительное слово Ал. Ал., затем он писал отзывы обо многих лицах, желавших вступить в Союз. На втором вечере в Доме Искусств выступали

молодые поэты и поэтессы в том числе Павлович, Шкапская, Оцуп и мн. др. Ал. Ал. не выступал.

Хлопот по делам Союза было много. Ал. Ал. порядком тяготился этой затеей тем более, что кроме дрязг и всяких неудовольствий ничего из нее не выходило. Солидарности между петербургскими поэтами не оказалось. Павлович возбудила всеобщие нарекания, так что Ал. Ал. пришлось ее защищать от нападок, сам он тоже пришелся не по вкусу многим поэтам так, что при перевыборах его забаллотировали и выбрали председателем Гумилева. Ал. Ал. был в восторге, когда это случилось: ему можно было не заниматься более делами Союза и не ходить на его заседания. Это тем более радовало его, что число заседаний, на которых ему приходилось бывать, все возрастало. Было время, когда кроме Управления Б. Др. Театра, «Вс. Лит.» и специальной Коллегии, совещавшейся об исторических картинах, ему приходилось заседать еще в Правлении Союза Писателей, в качестве члена «правления» и члена «суда чести», президировать в Союзе Поэтов и в Высшем Совете Дома Искусств. Этого одного было достаточно для того, чтобы отбить у него всякую охоту писать стихи.

Кроме удачного вечера молодых поэтов был еще один приятный эпизод в жизни Союза, это юбилей М. Кузмина, который состоялся в сентябре. Ал. Ал. сказал Кузмину очень теплое приветствие от Союза Поэтов, в котором затронул вопрос о положении

поэта и об обязанности общества оберегать его покой.

От затеи основания Союза Поэтов остались только дружеские отношения Ал. Ал. и его матери к Н. А. Павлович. Изложение эпизода неудавшейся организации Союза заставило меня несколько забежать вперед. Теперь мне придется вернуться назад.

В начале лета 1920 года Ал. Ал. возобновил свои обычные прогулки с купаньем. Ему случалось с утра уходить в «Стрельну» после сытного завтрака, захватив с собой запас хлеба и шпика, и пропадать на весь день до вечера, скитаясь по разным зеленым трущобам и дебрям. Он купался, жарился на солнце и возвращался домой, веселый, загорелый и бодрый. Среди лета ему пришлось участвовать в театральной работе по разгрузке дров. Он исполнял ее в охотку и с легкостью выгрузил свою долю — три четверти куба дров. Даже странно подумать, что это было за год до его последней болезни.

К этому же времени относится близкое знакомство с Е. Ф. Книпович, оно завязалось с тех пор, как Е. Ф. служила в библиотеке Александринского театра в 1919 году. Но с лета 1920 года она стала особенно часто бывать у Блоков, сблизилась с Ал. Андр. и сделалась другом дома.

Среди лета состоялось в Вольфиле торжественное заседание по поводу двадцатилетия со дня смерти Владимира Соловьева. Ал. Ал. сказал по этому случаю речь. В то же лето «Алконост» устроил в «Вольфиле» вечер, на котором Ал. Ал. читал поэму «Воз-

мездие». Он прочел предисловие, написанное им в 1919 году, и все, что печаталось до тех пор. Публики было множество, отношение ее к поэме было необыкновенно сочувственное, что было особенно приятно Ал. Ал. После этого вечера появилась в газетах краткая, но очень значительная заметка Анны Радловой, в которой было сказано, что наше время будет когда нибудь называться «Блоковским».

В августе состоялось новое, довольно интересное, но мимолетное знакомство. Из Москвы приехала Ларисса Рейснер, жена известного Раскольникова. Она явилась со специальной целью завербовать Ал. Ал. в члены партии коммуннистов и, что называется, его охаживала. Устраивались прогулки верхом, катанье на автомобиле, интересные вечера с угощением коньяком и т. д. Ал. Ал. охотно ездил верхом и вообще не без удовольствия проводил время с Лариссой Рейснер, так как она молодая, красивая и интересная женщина, но в партию завербовать ей его все таки не удалось и он остался тем, чем и был до знакомства с ней, т. е. чистой воды поэтом, чуждым всякой партийности и политики, которого не возможно свернуть с той дороги, которую он избрал, как художник.

Я видела Сашу в последний раз в конце сентября 1920 года. Я приехала из Луги с вечерним поездом в прекрасную погоду, пришла пешком с вокзала. Меня, кажется, ждали, потому что я предупредила о своем приезде. Я пробыла в Петербурге три дня, на четвертый уехала. Саша был в этот мой приезд

невеселый и озабоченный. Все время чувствовалось, что у него много сложного дела, надо обо всем помнить, ко всему приготовиться. Так как у него все было в величайшем порядке и он никогда не откладывал исполнение того дела, которое было на очереди, то он все делал спокойно и отчетливо, не суетясь, справлялся со своими аккуратными записями, быстро находил то, что нужно, так как все лежало на определенном месте. Часть его работы и бумаг была в той комнате, где я ночевала. Он часто туда заходил, доставал что-то из стоявшего там стола и писал то, что ему было нужно. Мое присутствие по временам несомненно его стесняло, но он ни разу не дал мне этого почувствовать и вообще был со мной бесконечно деликатен. И в этот приезд он, помнится, задал мне обычный вопрос: «Тетя, тебе не надо денег?» Он часто задавал мне этот вопрос и всегда заботился о том, чтобы у меня были деньги. Когда я уехала в Лугу, он вел подробнейшие рассчеты и записи моих получений из «Всем. Лит.», продавал мои вещи, книги и ноты и составлял карточный каталог оставшихся у меня книг. Деньги он посылал мне с оказией, прилагая подробные счета. По временам, присоединял к этому какие-то лишние деньги, конечно, свои. Посылал он мне также разные вещи для обмена на продукты: спички, табак и т. п. Раз даже сам купил для меня на базаре партию черных и белых катушек для той же цели. Когда приезжала, он часто дарил мне разные мелочи. И в это последнее наше свидание он надарил

мне бумаги, конвертов, карандашей и не помню еще чего — все очень нужных вещей, которых я не имела возможности купить. Помню, как в день моего от'езда мы с ним простились и он сам затворил за мною наружную дверь. Я долго еще оборачивалась, глядя на него вверх, пока он кивал мне с доброй улыбкой из-за двери. Потом дверь захлопнулась и больше я уже никогда его не видала...

Я долго не ехала в Петербург, боясь стеснить Блоков, все надеялась на лучшие времена и так и не дождалась их.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В октябре месяце 1920 года Люб. Дм., которая уже довольно долго нигде не играла, приняла предложение Радлова вступить в труппу драматического театра «Народной Комедии». У Блоков в то время не хватало денег, условия, предложенные Радловым, были довольно выгодные и потому Люб. Дм. дала свое согласие. Она шла неохотно, для заработка, но потом втянулась в это дело и увлеклась им. Тем более, что идеи Радлова пришлись во многом ей по душе, а театральная атмосфера всегда ее привлекала.

Тут пошли трудные времена. Совмещать домашние дела, не имея прислуги, со службой в театре, да еще таком отдаленном, было мудрено. Люб. Дм. приходилось утром ходить на базар и получать

пайки, к 12 часам поспевать на репетицию, вернувшись к четырем часам, сломя голову готовить обед. После обеда спешить на спектакль и поздно возвращаться домой, уже без трамваев. Таким образом выходило, что она почти не бывала дома, что очень удручало Ал. Ал. Вообще надо сказать, что чем дальше, тем больше нуждался он в постоянном общении с женой. Тут была причиной не только его нежнейшая и глубокая любовь к ней, но также ее здоровье, жизненность, детская беспечность и уменье отвлечь его от печальных мыслей свое образной шуткой и неизменной, светлой веселостью. Если бы она знала, что это последний год его жизни, она, конечно, и не подумала бы поступать в «Народную Комедию». В прежние годы Ал. Ал. тоже не любил, когда она уезжала или часто отлучалась из дому, но он переносил это все сравнительно легко. Теперь же он без нее тосковал, падал духом, не хотел приниматься за еду, пока она не вернется... Мать видела это и стала тревожиться за здоровье сына, но Люб. Дм. по свойственнному ей оптимизму не придавала значения всем этим фактам. И действительно в начале 1921 года еще не обнаруживалось ничего угрожающего. В феврале месяце Люб. Дм. взяла прислугу, так что ей не приходилось уже так часто уходить из дому, но, пока не было прислуги, Ал. Ал. пришлось между прочим, носить дрова из подвала. Это продолжалось всего два — три месяца, так как пока не запретил доктор, Люб. Дм. делала это сама, но Саша, как всегда, не берег

своих сил и вместо того, чтобы делать эту работу постепенно и понемногу, таскал большие вязанки, чтобы скорее отделаться от неприятной обязанности. Он не жаловался на нездоровье, раз только втечение этой зимы сделалась у него как то подозрительная боль в области сердца, которую он принял за что то другое и не подумал обратиться к доктору. А между тем болезнь наверно уже подкрадывалась к нему. Его нервы были в очень плохом состоянии, по большей части он был в самом мрачном настроении, но и тут иногда случалось ему вдруг неизвестно с чего развеселиться. В такие минуты он смешил жену, мать и какого-нибудь гостя, изображая комический митинг, рисовал каррикатуры, раздавал всем какие-то ордена с мудреными названиями вроде: «Рев. Мама.», «Рев. Люба» и т. д.

Но такие вспышки бывали все реже и реже. Сердце видимо уставало от жизни, от всего того, что приходилось преодолевать. Ведь недаром писал он матери еще в 1910 году, уговаривая ее не насиловать себя, делая визиты и принимая гостей: «Всякому человеку нужно хотя бы до минимума быть таким, как он есть, есть черта, которую не преодолеешь». Вот этого то минимума, очевидно, уже не было в те годы, когда Ал. Ал. пришлось делать все наперекор своим наклонностям и стемлениям и насиловать себя непрестанно и непрерывно. На свете есть много людей, которые служат поневоле и вообще с трудом тянут свою лямку, но для такого исключительного художника, каким был Ал. Ал.,

это было двойным, тройным ярмом, которое тащил он совсем через силу тем более, что он исполнял свой долг с такой неуклонной точностью и добросовестностью. Давно уже была перейдена «черта, которой не преодолеешь», и сердце, самый чувствительный орган человека, который никогда не отдыхает, — очевидно, давно уже стал уставать. Вдобавок, сердце это принадлежало человеку с самой тонкой впечатлительностью, с самыми глубокими восприятиями.

И однако, как ни трудно жилось Ал. Ал., в эти годы, как ни страдал он от окружающих условий, — он никогда ни минуты не думал о том, чтобы эмигрировать. Он считал это изменой... Покидать родину, когда она больна, по его выражению в стихах о России, он не считал возможным. Он глубоко сочувствовал Анне Ахматовой, которая выразила то же чувство в стихах своего сборника «Подорожник». Он мечтал с'ездить за-границу, когда все уляжется. У них с Люб. Дм. был припасен для этой цели своего рода неприкосновенный фонд, уехать Ал. Ал. ничего бы не стоило, но он не хотел этого. Жена была вполне солидарна с ним в этом чувстве, мать тоже одобряла его образ действий.

Для выяснения положения вещей, мне придется указать еще на один факт, игравший важную роль в жизни Ал. Ал. Между его матерью и женой не было согласия. Разность их натур и устремлений, борьба противоположных влияний, которые обе они на него оказывали, создавала вечный конфликт

между ними. Если бы обе они были заурядные и мелкие женщины, это было бы менее остро, но так как каждая из них в своем роде крупная величина и индивидуальность — конфликт между ними был сложный и мучительно отзывался на поэте, который любя обеих, страдал от невозможности примирить противоречия их натур. Люб. Дм. не всегда умела сдерживать порывы своей враждебности. И эти несогласия между наиболее близкими ему существами жестоко мучили Ал. Ал. В сложном узле причин, повлиявших на развитие его болезни, была и эта мучительная язва его души. Теперь, когда его уже нет среди нас — вражда понемногу растаяла и на место ее выступает мудрое понимание и сознание своих ошибок.

Теперь мне остается сказать только несколько слов о последних работах Ал. Ал., об его последних выступлениях в публике и о его последней болезни.

Во «Вс. Лит.» он сдал еще один том сочинений Гейне и продолжал редактирование стихов. Относительно деятельности во «Вс. Лит.» есть его характерная запись такого содержания: «Исторические картины, (затея Горького два года назад, гальванизированная Гумилевым и Тихоновым, медленно умирает)».

Заседания, доклады, рецензии о различных книгах и переводах шли своим чередом. В Б. Др. Театре в общем было все то-же. Можно отметить только двадцатипятилетний юбилей Монахова, по случаю которого Ал. Ал. сказал ему прекрасное приветствие.

В январе состоялось торжественное заседание в Доме Литераторов по случаю 84-ой годовщины со смерти Пушкина. Ал. Ал. прочел на этом заседании свою речь «О назначении поэта» и дважды повторил ее: один раз там же, в другой раз в Химическом Дворце Университета. Речь произвела сильное впечатление, особенно в первом чтении. По этому же поводу, Ал. Ал. написал свое последнее стихотворение для альбома Пушкинского Дома. Весной он занимался отделкой и дополнением своих набросков «Ни сны, ни явь», которые вышли уже после его кончины в «Записках Мечтателей». В 1921 г. еще при жизни поэта вышел «Рамзес», в издательстве «Алконост». В начале апреля Чуковский устроил в Б. Др. Театре, перехавшем уже с год назад на Фонтанку литературный вечер, на котором он сам должен был читать критический очерк о поэзии Блока, а Ал. Ал. — свои стихи. Публики набралось такое великое множество, что не только были заняты все места в театре, но еще и стояли везде, где это было возможно. Ал. Ал. читал прекрасно и имел колоссальный успех, читал он стихи разных периодов и настроений. Его принимали восторженно, горячо, молодежь не спускала с него глаз, ему поднесли цветы, не знали, как выразить свое восхищение. Была тут, конечно, жена и мать поэта, и между прочим Андрей Белый, который жил в Петербурге всю эту и, кажется, предыдущую зиму.

Ал. Ал. был тронут и рад. Это был один из немногих дней, когда он чувствовал себя хорошо, даже

весело. Присутствовавший на вечере фотограф Напельбаум, дочери которого — поэтессы из студии Чуковского — большие поклонницы Ал. Ал., возымел счастливую мысль снять в тот же вечер фотографию с Ал. Ал. при вспышке магния. Ему мы обязаны той отрадой, которую доставляет его последний прекрасный портрет — столь похожий и снятый в такую счастливую минуту. Портрет этот улыбается мне и теперь в то время, как я пишу эту повесть жизни бесконечно дорогого для меня поэта нашего времени, близкого мне по крови. Эта прекрасная улыбка дает мне силы и бодрость в достижении той трудной задачи, которую я себе поставила.

В середине апреля начались первые симптомы болезни. Ал. Ал. чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать. В этом удрученном состоянии он поехал в Москву в поездку, которая подробно описана в воспоминаниях Чуковского, напечатанных в «Записках Мечтателей». Перед его от'ездом было решено, что Ал. Андр. поедет отдохнуть ко мне в Лугу, куда я звала ее на все лето. Ал. Ал. уехал 1 мая, с трудом сошел вниз, опираясь на палку, с трудом сел на извозчика. В Москве надеялся он освежиться и набраться сил, но не тут то было. Выступление на

шести вечерах, повидимому, окончательно, надорвало его сердце. Настроение его в Москве резко разнилось от прошлогоднего. Многие слышали от него, что он готовится к смерти. Несмотря на все триумфы, на самый сердечный прием, оказанный ему москвичами, — омраченный только одним неприятным эпизодом при выступлении поэта-имажиниста, — Ал. Ал. был все время невесел и оживление к нему не вернулось. Между прочим, он советовался в Москве с доктором, который не нашел у него ничего, кроме истощени, малокровия и глубокой неврастении. Но доктор этот ошибся... После своих выступлений Ал. Ал. почувствовал себя настолько утомленным, что вернулся в Петербург немного раньше, чем предполагал, предупредив телеграммой жену о дне и часе приезда. Ал. Андр. уехала в Лугу 4 мая, уже в его отсутствие. Люб. Дм. встретила мужа на вокзала, привезла домой в экипаже, предоставленном ему Е. Я. Белицким и рассказала ему, как хорошо удалось обставить от'езд Ал. Андр. при содействии того же Белицкого, который занимал в то время видный пост. Ал. Ал. был рад видеть жену и вернулся домой довольно веселый, но вскоре впал в обычное для него в то время мрачное настроение. Люб. Дм. нарочно выбрала свободный вечер и выманила его на улицу в хорошую погоду, она повела его по одному из его излюбленных путей направо по набережной Пряжки, потом через мостики и дальше до самой Невы. Но во время этой прогулки вдвоем,

которая прежде доставила бы ему так много удовольствия, он даже ни разу не улыбнулся.

Вскоре после приезда из Москвы, у Ал. Ал. был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор Пекелис, ныне уже покойный, — тоже не сразу определил у Ал. Ал. болезнь сердца, подтвердив диагноз московского доктора, он нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил, как психастению, т. е. психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он не долго блуждал впотьмах. При первых припадках удушья и боли в груди, он выслушал сердце Ал. Ал. и в конце концов вполне правильно поставил диагноз болезни, подтвержденный позднее известным профессором Троицким, ныне тоже покойным. По определению Пекелиса, у Ал. Ал. было воспаление обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психастении. Прошло около трех недель с первого припадка прежде, чем Пекелис окончательно убедился в том, что у Ал. Ал. настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто бывают обманчивы.

Болезнь начала быстро развиваться. Доктор Пекелис, который навещал А. А. ежедневно, предписал ему полный покой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы не утомлять его сердце разговорами и впечатлениями. Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы,

что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. В начале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывал Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно и потому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровьи Ал. Ал.

Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться.

Доктор Пекелис пустил в ход весь арсенал противосердечных средств. Давалось все, что существует по этой части. Достать лекарства было нелегко, но тут на помощь пришли друзья, которые на перерыв предлагали свои услуги больному. Друзей этих оказалось великое множество. Между прочим выказали самое теплое участие все служащие Б. Др. театра, особенно Гришин, Лаврентьев и Бережной. Со всех сторон предлагали денег, доставляли лекарства, посылали шеколад и другие сласти. Люб. Дм. отказывалась от денег, т. к. их было достаточно, но приноше-

ния и услуги всегда принимала с благодарностью. По части еды она доставала все, что можно было достать и что нравилось Ал. Ал. В доме была расторопная и ловкая прислуга, которая оказывала существенную помощь. Ал. Ал. кушал ветчину, жареных цыплят, свежую рыбу, икру и уху, бифштексы, яйца, разные пирожки, молоко, ягоды, любимые им кисели из свежей малины и огурцы. Булки, сахар, варенье, шеколад, сливочное масло не сходили с его стола. Ему не готовили сладких блюд, потому что он их не любил. Но кушал он, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам.

Я нарочно привожу все эти подробности, чтобы разрушить ту басню, которую сложили о голодающем Блоке, кормимом из милости каким то иностранцем, досужие русские эмигранты. Все, что можно было сделать для него в Петербурге, делалось. Люб. Дм. разумеется, перестала играть со времени болезни мужа, она числилась в труппе, но не выступала.

Энергичное лечение Пекелиса принесло некоторый результат. Ал. Ал. стало значительно лучше, так что он ободрился, и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце.

В периоды улучшения Ал. Ал. развлекался работой. Так как Пекелис с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетвори-

тельны, — Ал. Ал. стал готовиться к от'езду заграницу. Он рассчитывал, что, поехав в санаторию в сопровождении жены, он пробудет там месяца два, поправится и вернется домой, а Люб. Дм. уедет в Россию еще раньше его, как только лечение пойдет на лад, и приищет более просторную и удобную квартиру с ванной, на которую и переедет до его возвращения. Ввиду этого, он стал разбирать свой архив, как делал не раз и прежде, то перед новым годом, то осенью или весной. Он любил такую сортировку своих бумаг и основательную уборку с уничтожением ненужного матерьяла. Теперь он отобрал при помощи Люб. Дм. все, что находил лишним, сделав тщательные записи того, что осталось и что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукописи и письма, привел в порядок все остальное и закончил перечень своих работ, начатый несколько лет тому назад... Последняя запись его в этой книги гласит: «Окончен карточный каталог моих русских книг». Сбоку приписка: «Запис. 25 мая». Во второй половине мая, после облегчения, последовавшего за первым припадком сердечной болезни и позднее, во все периоды улучшения, Ал. Ал. занимался писанием тех отрывков в стихах и прозе, которые напечатаны в новом издании его поэмы «Возмездие».

После временного облегчения, наступившего в июне, болезнь опять наложила на Ал. Ал. свою жестокую руку и все началось сначала. 17 июня был

созван консилиум из трех врачей: Пекелиса, профессора Троицкого и специалиста по нервным болезням Гизе. Последний ничего не понял в болезни Ал. Ал., но Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза, он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли Блока». Мнение это Пекелис до времени скрыл от близких больного. Лечение Пекелиса Троицкий нашел вполне правильным, и оно продолжалось по прежнему. Решено было увезти больного в санаторию за-границу. Начались хлопоты о разрешении ехать в Финляндию, которые взял на себя Горький. Не скоро, очень не скоро получено было разрешение. Когда оно пришло, Ал. Ал. был уже настолько слаб, что немыслимо было трогать его с места. Но в сердечных болезнях всегда бывают неожиданности: внезапно могло наступить улучшение, которым бы можно было воспользоваться, чтобы перевести больного, но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о разрешении для Люб. Дм. Но — оно пришло уже после смерти поэта.

Во все время болезни Ал. Ал., за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург, но Люб. Дм. и доктор Пекелис уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного.

Ал. Андр. вообще имеет свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, а ее нервная болезнь, которая с годами не ослабевала, а все усиливалась, могла еще более опасно повлиять на такого больного, как Ал. Ал. По словам доктора Пекелиса, который не раз говорил с Ал. Андр., давая ей советы по случаю ее сердечных припадков, ее нервная болезнь такого же типа, как болезнь Ал. Ал.; он был поражен сходством того, что говорили ему сын и мать во время его докторских посещений.

Люб. Дм. удерживала Ал. Андр. в Луге до последних дней жизни Ал. Ал. Мать подчинялась этому требованию из страха нарушить покой больного сына. Но всякий поймет, чего ей это стоило. Только раз рискнула она приехать в Петербург. Это было в июне и еще до созыва консилиума. Уже тогда мать была поражена страшной переменой, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым сердцем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе болезни сына.

Ал. Ал. написал ей всего четыре письма со времени своего возвращения в Петербург. В первом от 12 мая он описывает свое пребывание в Москве и упоминает о том, что выгодно продал драму «Роза и Крест» театру Незлобина, который собирался поставить ее в сентябре*), причем переговоры шли через Станиславского. Пишет он также про свое здоровье и про то, что сказал ему московский доктор:

*) Постановка не состоялась, и даже гонорар не выплачен полностью. Прим. М. Б.

...«Дело вовсе не в одной подагре*), а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цынготные опухоли и расширение вен... Никаких органических повреждений нет, а все состояние, — и слабость, и испарина, и плохой сон, и пр. — от истощения. Я буду здесь стараться лечиться. В Москве было очень трудно, все время болели ноги и рука — рука до сих пор болит, так, что трудно писать. Читал я, как во сне, почти все время, ездил на автомобилях и извозчиках... Сейчас ноги почти не болят, мешает главным образом боль в руке, слабость и подавленность.»

Второе письмо написано карандашем в постели после первого приступа болезни, третье — тоже написано карандашем во время второго, самого сильного припадка, когда он начинал проходить (28 мая). Последнее от 4 июня написано пером, но сильно измененным почерком: «Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и т. д.»

После этого, он совсем перестал писать. Ал. Андр. извещали о ходе болезни доктор Пекелис, Е. Ф. Книпович и Люб. Дм.

Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления, от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза

*) Боли в руках и ногах приписывались подагре. Прим. М. Б.

страшно его утомляла. Дни он проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Люб. Дм. пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое нибудь скороспелое блюдо и давала ему поесть.

За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно-апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опят наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления между прочим отеку мозга, связанному с болезней сердца. Психастения усилилась и наконец приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро. Слабость достигла крайних пределов.

Но ни доктор, ни Люб. Дм. все еще не теряли надежду на выздоровление. За четыре дня до смерти сына, мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Ал. Ал. жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 ч. утра в воскресенье 7 августа 1921 года — в присутствии матери и жены. Перед смертью почти ничего не говорил. В то время, когда его бездыханное тело опустилось на подушки, раздались торжественные и отчетливые звуки благовеста, призывавшего к обедне.

Первая панихида была в 5 час. вечера. Служил священник Благовещенской церкви отец Николай. Но еще до панихиды, с утра весть о кончине-поэта разнеслась по Петербургу и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди. Между прочим певец Ершов, живший в одном доме с Блоками, и другие соседи их по квартире, Мариэтта Шагинян одна из первых принесла цветы, которые положила к телу покойного. Пришел Бенуа, Лурье — многие из тех, кто встречался с Ал. Ал. только вне его дома. Многие плакали навзрыд...

Вскоре тело поэта было засыпано цветами. Погода была жаркая, все окна открыты. Большой Драматический Театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному: его обили глазетом и кисеей. В числе тех, кто опускал тело в гроб, был артист Монахов, которому еще так недавно произносил свое приветствие усопший поэт. Пришли литераторы, пришла разумеется и Вольфила с Ивановым-Разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней, трагической смертью. Между прочим привез роскошную корзину гортензий Ионов.

В то время, как тело лежало на столе, несколько художников сделали с него карандашные снимки. Лучший из них, действительно, очень хорошим, тогда как другие не удались, — оказался рисунок

матери Люб. Дм., Анны Ивановны Менделеевой. Этот снимок висит на стене той комнаты, где скончался поэт и куда перешла после его смерти его вдова. Позднее, была снята маска и слепок руки покойного. Есть также и фотографии, снятые с него в гробу.

Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В числе их был и брат по духу поэта — Андрей Белый. В первую минуту забыли положить на гроб крышку; когда процессия уже двинулась и кто-то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали: «Не надо.» И так и несли тело усопшего в открытом гробе до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась несметная процессия, запрудившая всю Офицерскую до улицы Глинки. Гроб несли ровно и дружно и на виду у всех было тело поэта, украшенное живыми цветами.

Его провожал все тот же священник, служивший на всех панихидах. Он же и отпевал его в церкви Воскресения, стоящей при в'езде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным. Это был праздник Смоленской Божьей Матери*). В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор Филармонии, тот же хор пел и на панихидах. Похороны

---

*) По этому поводу написаны стихи Анны Ахматовой. Прим. М. Б.

были прекрасные во всех отношениях: торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографы, бесцеремонно распоряжавшиеся толпой и отдававшие какие то наглые приказания. Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Е. А. Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашенный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов не переводились на этой могиле свежие цветы. Кто то прибил к кресту образок, близкие находили на ней чьи то стихи, обращенные к поэту.

Первый, кто почтил память покойного, была Вольфила. Ее ближайшее заседание после его смерти было посвящено ему. Стенограмма этого заседания напечатана в книге, изданной Вольфилой. Немного спустя в Вольфиле произошло второе событие, отметившее память Ал. Ал. Блока. Андрей Белый два дня читал свои воспоминания о покойном поэте. Кто имел счастье присутствовать на этих чтениях, знает, что это были дни, выдающиеся по своему значению. Андрей Белый говорил с таким вдохновением и проникновенностью, так прекрасно и выпукло очертил облик поэта в пору его светлой юности, что вся зала была потрясена и растрогана, а для нас — трех осиротевших женщин, — это было живой отрадой: мы как бы вновь пережили эти прекрасные годы.

Эту книгу я писала не в одиночестве, я не могла бы довести ее до конца, если бы мать и жена поэта не помогли мне своими советами и воспоминаниями о том, что мне было неизвестно или неясно. Эта летопись жизни его написана нашей любовью.

Петербург.
17 июня 1922 г.

100		
101		
02		
103	201	
104	204	
105		
112	219	
113	228	
115	231	270
	2	3
119	6	4
	240	7
132	242	8
146	249	80
148	2 5	1
149	6	5
157	7	8
153	8	90
172	262	2
180	5	4
191	6	5
194	7	6
	8	7
	9	302

Beketova, Mariia Andreevna
Aleksandr Blok